Ф. Ницше

УТРЕННЯЯ ЗАРЯ

Фридрих Ницше

Утренняя заря

«ОМІКО»

1881

Ницше Ф. В.

Утренняя заря / Ф. В. Ницше — «OMIKO», 1881

Предлагаемая читателю работа знаменитого мыслителя Фридриха Ницше, провидчески названная автором "Утренней зарей", увидела свет в 1881 г. Она во многом стала прологом к окончательному разрыву Ницше со всей предшествующей философией. Это был шаг к созданию мышления, отрицающего старую мораль, к воспеванию человека, находящегося "по ту сторону добра и зла".

© Ницше Ф. В., 1881
© OMIKO, 1881

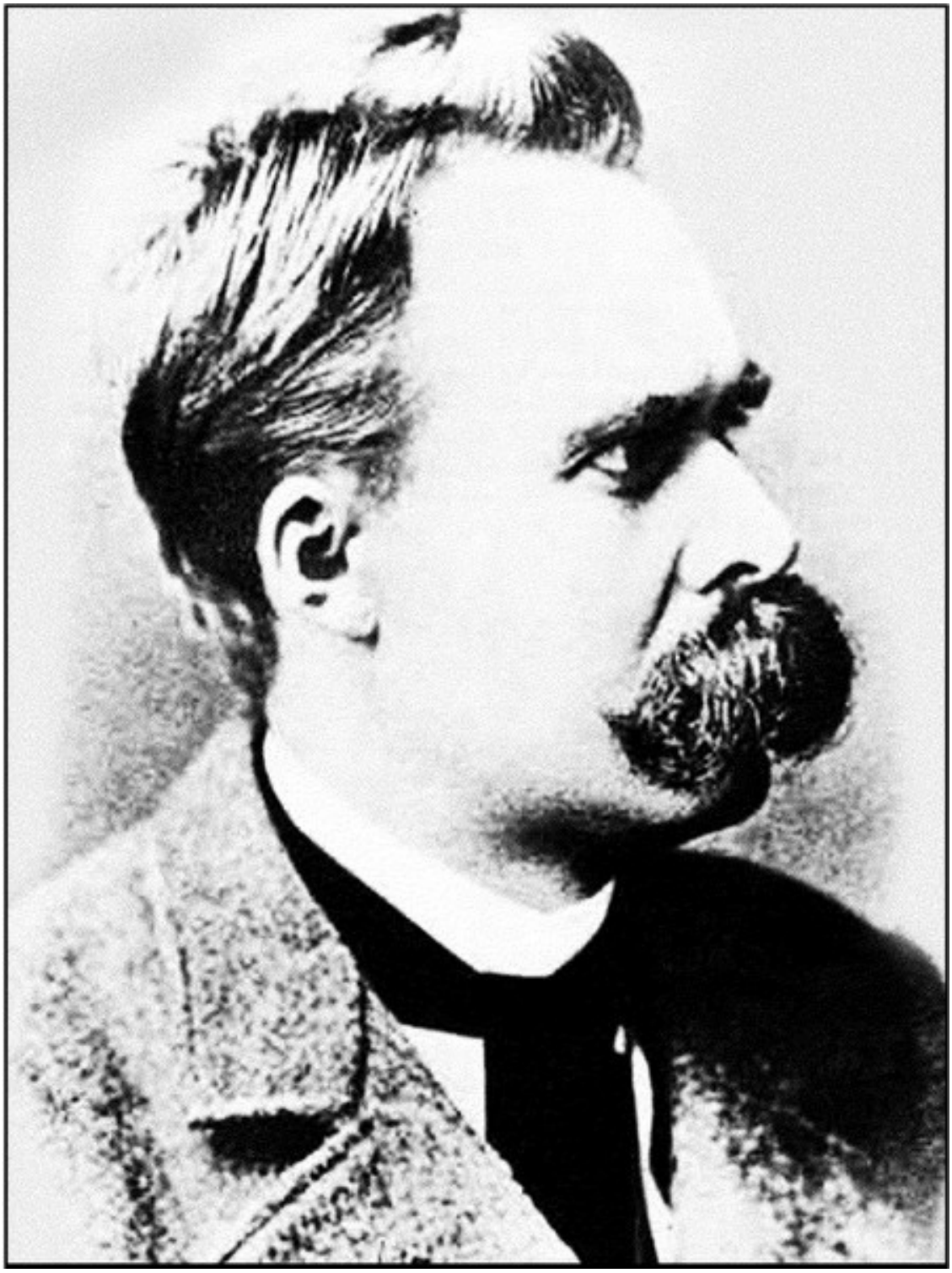
Фридрих Ницше
Утренняя заря (Morgenröte)

Мысли о моральных предрассудках

Есть много утренних зорь,
которые еще не светили.

Ригведа

Предисловие



1

В этой книге выведен житель подземелья за работой – сверлящий, копающий, подкапывающий. Кто имеет глаза, способные рассмотреть работу на громадной глубине, тот может видеть, как он медленно, осторожно, терпеливо продвигается вперед, не чувствуя слишком

больших неудобств от продолжительного лишения света и воздуха; можно сказать даже, что он доволен своей жизнью и работой во мраке. Не увлекает ли его какая-нибудь вера? Не вознаграждает ли его какое-нибудь утешение? Не переносит ли терпеливо он свой мрак, оставаясь непонятым, неясным, загадочным потому, что он надеется иметь *свое* утро, *свое* искупление, свою *утреннюю зарю?..* Он вернется сюда, но не спрашивайте его, чего он хочет там, внизу: он скажет вам об этом сам, если он снова сделается человеком, этот мнимый Трофоний, этот житель подземелья. Разучиваются молчанию, когда так долго, как он, бывают в одиночестве, живут как кроты…

2

Действительно, мои терпеливые друзья, я хочу вам сказать, чего я хотел там, внизу, сказать в этом предисловии, которое легко можно назвать последним прости, надгробным словом: я пришел назад и – я пришел *оттуда.* Не думайте, что я буду звать вас на такой же отважный шаг или хотя бы только к такому одиночеству! Кто избрал себе такой путь, тот не найдет спутников. Никто не придет помочь ему; он должен быть готов один на все, что ни встретится ему – опасность, несчастие, злоба, ненастье. Он идет *сам по себе…* и его горечь, его досада состоят в этом «сам по себе»: зачем, например, ему надобно знать, что даже друзья его не могут догадаться, где он, куда он идет? что по временам они будут спрашивать себя, – идет ли он вообще? Тогда предпринял я нечто такое, чего не каждый мог сделать: я спустился в глубину, я начал рыть почву, исследуя ту старую *веру*, на которой мы, философы, возводили здания уже несколько тысячелетий, возводили все снова и снова, несмотря на то, что все эти здания рушились – я начал исследовать нашу *веру б мораль.* Вы не понимаете меня.

3

Вопрос о добре и зле разрешался до сих пор самым неудовлетворительным образом: решать его было слишком опасное дело. Привычка, доброе имя, ад не позволяли быть беспристрастным; в присутствии морали нельзя мыслить, еще менее можно говорить: здесь должно – повиноваться. Критиковать мораль, брать мораль как проблему – это признак безнравственности! Но мораль владеет не только всякого рода средствами устрашения, чтобы сдержать критические руки; ее безопасность заключается еще более в некотором искусстве очаровывать, которым она владеет вполне, – она умеет «вдохновлять». Ей часто удается только одним взглядом парализовать критическую волю; бывают даже случаи, когда она умеет обращать волю против нее же самой и делать из нее скорпиона, вонзающего жало в свое собственное тело. Мораль испокон века обладала нечеловеческим искусством убеждения: не было и нет ни одного оратора, который бы не обращался к ней за помощью (даже анархисты – и те прибегают к морали, когда им надобно себя оправдать; они даже называют себя «людьми добра и справедливости»). С тех пор, как на земле начали говорить и убеждать, мораль постоянно показывала себя величайшей мастерицей обольщения, – а что касается нас, философов, она была для нас настоящей *Цирцеей.*

В чем же причина того, что все философы, начиная с Платона, трудились напрасно? Отчего все воздвигнутые ими здания грозят разрушиться или лежат уже в руинах, хотя сами они честно и серьезно считали их «прочнее меди твердой». О, как ошибочен ответ, который дают и теперь еще на этот вопрос – «потому что все они упустили из виду испытание фундамента, *критику разума»* – этот роковой ответ Канта не поставил нас, философов, на более твердую или хотя бы на менее зыбкую почву. И не странно ли, *право,* требовать, чтобы орудие само оценивало свою пригодность и свое качество? чтобы интеллект сам «познавал» свою цену, свою границу, свою силу? Не кажется ли это даже немного бессмыслицей?.. Правильным отве-

том было бы то, что все философы строили свои здания, находясь под обольщением морали, в том числе и сам Кант; что они обещали искать «правду», а на самом деле заботились только о том, чтобы построить *«величественные нравственные здания».* Сам Кант простодушно называл свою «не блестящую, но и не лишенную заслуг» задачу и работу средством «уровнять и упрочить почву для *величественных нравственных зданий»* (Критика чистого разума II 257). Увы! это не удалось ему. Даже наоборот!» – можно было бы сказать теперь. С такой фантастической целью Кант был истинным сыном своего времени, которое, более чем всякое другое, было временем химер; таким остался он, к счастью, и в отношении к более ценному явлению своего века – сенсуализму, который он заимствовал в своей теории познавания. Его коснулось жало и тарантуловой морали Руссо, в глубине его души лежала мысль морального фанатизма, исполнителем которого был Робеспьер с его *de fondet sur la terre l'empire de la sagesse, de la justice et de la vertu* (Речь 7 июня 1794 г.). И чтобы создать *свое* «моральное царство», он видел себя вынужденным приставить еще недоказанный мир, логическое «по ту сторону», – для этого-то и понадобилась ему критика чистого разума. Говоря иначе, она не нужна была бы ему, если бы ему не потребовалось непременно свое моральное царство сделать недоступным нападкам разума; он чувствовал, что моральный порядок вещей слишком доступен для нападок со стороны разума. Принимая в расчет природу и историю, принимая в расчет отсутствие морали в природе и истории, Кант был, как и всякий хороший немец, пессимистом. Он верил в мораль не потому, что она была доказана природой и историей, а несмотря на то, что природа и история постоянно противоречили ей: *credo, quia absurdum est.*

4

Но моральным феноменом являются не *логические* суждения, а доверие к разуму, отчего зависит признание или отрицание наших суждений… Может быть, немецкому пессимизму предстоит еще сделать свой последний шаг? Может быть, он еще раз роковым образом поставит рядом *credo* и *absurdum?* И эта книга, проникнутая пессимизмом, вплоть до морали, вплоть до доверия к морали, – разве не несет она на себе печати немецкого духа? В действительности, она представляет собой противоречие, и не боится этого: в ней объявляется доверие к морали – почему же? Из способности к морали или, назовите как хотите, то, что совершается в нас! Нет никакого сомнения, что и в нас еще говорит – «ты должен», и мы еще слушаемся строгого закона над нами, и эта последняя мораль нам понятна, о существовании ее мы знаем: не где-нибудь, а именно здесь мы являемся еще *людьми совести.* Но мы оставили то, что отжило, оставили старый идеализм, называйте его как хотите – правдой, справедливостью, любовью к людям, добродетелью; мы сломали мосты к старым идеалам… мы враги вообще всему европейскому *феминизму,* который вечно тянет вверх, но на самом деле вечно толкает вниз. Но как люди совести, мы стоим в родстве с немецкой праведностью и благочестием тысячелетий, будучи потомками, наследниками их и исполнителями их воли, их пессимистической воли, которая не останавливается перед отрицанием самой себя! Если вы хотите точного термина, – в нас совершается *самосохранение морали.*

5

Но, наконец, зачем должны мы говорить так громко о том, что мы есть, чего мы хотим и чего не хотим? Будем смотреть на это холоднее, осторожнее; будем говорить, как можно говорить между нами, так тихо, чтобы весь свет не услышал этого, чтобы весь свет не услышал нас… Прежде всего, будем говорить *медленно…* С такой книгой, с такой проблемой нет надобности торопиться; кроме того, мы оба – и я, и моя книга, – друзья медлительности. Не напрасно мы были филологами, не напрасно мы были учителями медленного чтения, – нако-

нец, мы и пишем тоже медленно. Теперь это сделалось не только моей привычкой, но и вкусом – может быть, дурным вкусом? Филология именно то заслуживающее уважения искусство, которое от своего почитателя требует прежде всего одного: идти стороной, давать себе время, быть тихим, медленным, как ювелирное искусство *слова*, которое исполняет только тонкую, осторожную работу и которое может испортить все, если будет торопиться. Именно потому оно теперь необходимее, чем когда-нибудь, именно потому-то оно влечет и очаровывает нас, в наш век «работы», век суетливости, век безумный, не щадящий сил поспешности, – век, который хочет успеть все и справиться со всем, с каждой старой и с каждой новой книгой. Филология не так быстро успевает все – она учит читать *хорошо,* т. е. медленно, всматриваясь в глубину смысла, следя за связью мысли, улавливая намеки, видя всю идею книги как бы сквозь открытую дверь… Мои терпеливые друзья! эту книгу могут читать только опытные читатели и филологи: выучитесь же хорошенько читать!..

Рута, близ Генуи.
Осень 1886 года.

Книга первая

Доисторическое время обычаев и нравственности

1

Дополнительная разумность. Все вещи, которые долго живут, до того проникаются мало-помалу разумом, что становится невероятным их происхождение от неразумного. Не отзывается ли для чувства парадоксом и дерзостью каждая точная история происхождения? Не противоречит ли постоянно в самом принципе хороший историк?

2

Предубеждение ученых. Правильно убеждение ученых, что люди всех времен думали, что они знают, что такое добро и зло, что похвально и что достойно порицания. Но предубеждение ученых состоит в том, что мы *теперь* будто бы знаем это лучше, чем знали когда-либо прежде.

3

Все имеет свое время. Когда человек давал *пол* всему сущему, он не думал, что он играет, но предполагал, что он приобрел глубокую проницательность; чудовищность этой ошибки он понял позднее, но может быть и теперь еще не вполне. Точно так же человек все поставил в связь с моралью и повесил миру на плечи этическое значение.

4

Будьте благодарны. Великий продукт современного человечества состоит в том, что мы не испытываем теперь постоянного страха перед дикими зверями, варварами, богами, сновидениями.

5

Фокусник и его антипод. То, чему мы удивляемся в науке – противоположно тому, чему мы удивляемся в искусстве фокусника. Фокусник обманывает тем, что показывает простую причинность там, где, в действительности, существует причинность очень сложная; наука, напротив, заставляет нас верить в сложность причинности там, где все так легко понятно. «Самые простые» вещи *очень сложны.* – Удивительно!

6

Чувство пространства. Что больше содействует счастью человека – действительные или представляемые вещи? Известно, что *расстояние* между самым высоким счастьем и самым глубоким несчастьем измеряется с помощью представляемых вещей. Следовательно, чувство пространства такого рода все уменьшается под влиянием науки, так как мы узнали от нее, насколько мала Земля, и саму Солнечную систему мы представляем себе точкой.

7

Понятие нравственности обычаев. Сравнительно с образом жизни целых тысячелетий мы, теперешние люди, живем в очень безнравственное время: сила обычаев поразительно ослаблена, и чувство нравственности так утончено и так приподнято, что положительно можно назвать его окрыленным. Поэтому нам, позднейшим, трудно становится усмотреть самые корни происхождения морали, а если и удается это сделать, язык прилипает к гортани, с языка не сходят слова, потому что они звучат слишком грубо! или потому, что они, как нам кажется, оскорбляют нравственность! Например, вот главное положение старых времен: нравственность не что иное (или не *более)* как подчинение обычаям, каковы бы они ни были; обычаи – традиционный способ действий. В тех случаях, где традиция не повелевает, нет нравственности; и чем меньше определяется жизнь традициями, тем меньше становится круг нравственности. Свободный человек безнравствен, потому что во всем он хочет зависеть от себя, а не от традиции. Во всех первобытных состояниях человечества слово «порочный» было равнозначаще слову «индивидуальный», «свободный», «независимый». Если совершалось какое-нибудь действие не потому, что *так* повелевала традиция, а в силу других мотивов (напр., ради индивидуальной пользы), такое действие считалось безнравственным; так оно и понималось даже самим его совершителем: ибо оно совершено с нарушением традиции. Что такое традиция? Высший авторитет, которому повиновались потому, что он приказывал, хотя бы в этом и не было пользы для нас. Чем отличается это чувство, которое испытывается перед традицией, от чувства страха вообще? Это – страх пред высшим интеллектом, который повелевает нами; перед непонятной, неопределенной силой, перед чем-то большим, чем простая личность, – это *суеверие* в страхе. Первоначально и воспитание и медицина, и брак и гигиена, и земледелие и война, и разговор и молчание, общение людей и между собою и с богами, – все принадлежало области нравственности: тогда требовалось, чтобы соблюдали предписания, не обращая внимания на *себя.* Первоначально все было обычаем, и кто хотел стать выше этого, тот должен был сделаться законодателем, волхвом, полубогом, т. е. он должен был *создавать обычаи*, – вещь страшная, сопряженная с опасностью для жизни! Какой человек самый нравственный? Во-первых, тот, кто наиболее часто исполняет закон, т. е. подобно брамину, всюду в каждую минуту носит с собой сознание этого, так что при каждом удобном случае исполняет закон. Во-вторых, тот, кто исполняет закон в самых тяжелых обстоятельствах. Самый нравственный тот, кто больше всего *приносит жертвы* обычаю. Какая – наибольшая жертва? Из ответов на этот вопрос выделится несколько различных моралей, но важнейшим различием остается все-таки то, которое устанавливает два вида нравственности – нравственность *наиболее частого исполнения* закона и нравственность *исполнения* закона *в наиболее трудных случаях.* Не надобно обманываться о мотиве той морали, которая требует исполнения наиболее трудных законов как признака нравственности! Самообладание требуется не ради его полезных целей, которое оно имеет для индивидуума, а потому, что обычай, традиция является, вопреки всем индивидуальным выгодам, и требует, чтобы отдельная личность принесла себя в жертву, – такова нравственность обычаев. Напротив, те моралисты, которые идут по сократовским следам, и считают мораль самообладания и воздержания выгодной для самого индивидуума, ключом к его личному счастью, составляют исключение: они идут по новой дороге при явном нерасположении всех представителей нравственности обычаев; они исключаются из общины, как безнравственные. Так, римлянам христиане казались вредными потому, что они заботились прежде всего о спасении *своей* души. Всюду, где есть община и, след., нравственность обычаев, там господствует мысль, что за оскорбление обычаев наказание постигает прежде всего общину, – то сверхъестественное наказание, границу которого так трудно определить и которое принимается с таким суеверным страхом. Община может принудить индивидуума, чтобы он заплатил за

тот ближайший вред, который нанесен его поступком отдельному лицу или общине; она может также мстить индивидууму за то, что по его вине над общиной разразился гнев Божий, однако она сознает вину индивидуума *своей* виной, и несет его наказание как свое наказание: «нравы стали распутнее, если стали возможны такие поступки». Каждое индивидуальное действие, каждый индивидуальный образ мыслей возбуждает страх. Невозможно перечислить, сколько вынесли в течение всей истории эти редкие умы, которые считались порочными и опасными, и *которые сами себя считали такими.* Под властью такой нравственности все оригинальное считалось порочным.

8

Взаимное уничтожение понимания нравственности и понимания причинности. В какой мере растет понимание причинности, в такой же мере уменьшаются границы царства нравственности. Всякий раз, как поймут необходимые следствия, отделят их от всех случайностей и сумеют судить обо всех возможных posthoc, этим тотчас же разрушат бесчисленное множество *фантастических причинностей*, в которые прежде верили как в основы нравственности (действительный мир гораздо меньше фантастического); а лишь только из мира исчезнет боязливость и принуждение, – исчезнет и авторитет обычаев.

9

Народная мораль и народная медицина. Над моралью, господствующей в общине, непрерывно работает каждый. Большинство накапливают примеры на примеры для принятых отношений причин и следствий, вины и наказания, подтверждая, что этот порядок хорошо обоснован, – и вера их увеличивается. Другие проводят новые наблюдения над действиями и следствиями их, выводят из этого заключения и законы. Меньшинство находит и здесь и там недостатки и теряет веру. Но деятельность всех их одинаково груба и ненаучна: идет ли дело о примерах, наблюдениях, сомнениях или о доказательствах, подтверждениях, возражениях закону, – это ничего не стоящий материал и ничего не стоящая форма, как материал и форма всякой народной медицины. Народная медицина и народная мораль стоят близко друг к другу и заслуживают одинаковой оценки.

10

Следствие как прибавление. В древности думали, что результат какого-нибудь дела не есть простое следствие, а *прибавка*, приходящая извне, и именно от богов. Мыслимо ли большее заблуждение! Надобно было стараться о деле, а о результате – особенно, с совершенно различными средствами и приемами!

11

К новому воспитанию человеческого рода. Помогите, здравомыслящие, удалить понятие наказания, которое завладело всем миром! Нет более вредных плевел! Его не только сделали следствием нашего образа действий – как страшно и нелогично уже одно это: понимать причину и следствие как причину и наказание, – но сделали больше: всю чистую случайность совершающегося лишили ее невиновности ради этого проклятого искусства толкования понятия наказания…

12

Сумасшествие в истории нравственности. Если несмотря на тот ужасный гнет нравственности обычаев, под которым начало жить человечество еще за несколько тысячелетий до нашей эры, если несмотря на это постоянно возникали все новые и новые мысли, взгляды, цели, то происходило это под страшным сопутствием: почти всюду дорогу новым мыслям прокладывало сумасшествие и оно же ломало и уважаемые обычаи и суеверия. Понимаете ли вы, почему это должно было быть сумасшествием? Почему в голосе и лице человека должно было быть что-нибудь страшное и бурное, как *демонические* прихоти бури или моря и потому внушающие уважение и страх! Почему он должен был носить на себе печать полного безволия, как судороги эпилептика, представляющие безумного как бы говорящим голосом Божества! Сам носитель новой мысли испытывал уважение и страх перед самим собою, и его неудержимо влекло быть пророком этой идеи и мучеником за нее! Древние думали, что всюду, где есть сумасшествие, есть и гений, и мудрость – вообще есть нечто «божественное» или, как они выражались прямее и резче, – «сумасшествие дало Греции величайшие блага» – так говорил Платон со всем старым человечеством! Сделаем еще один шаг дальше. Всем тем сильным людям, которых неудержимо влекло к тому, чтобы сбросить иго старой нравственности и дать новые законы, ничего не оставалось другого, как сделаться или казаться сумасшедшими, *если они не были в действительности такими*, и таково было положение новаторов во всех областях жизни, а не только жрецов и политиков! – даже реформатор поэтического размера должен был показаться сумасшедшим! Даже в более цивилизованные времена за поэтами еще сохранялась репутация сумасшедших: этим воспользовался, напр., Солон, когда подстрекал афинян к завоеванию Саламина. Как сделаться сумасшедшим тому, кто на самом деле не сумасшедший, и у кого не достает смелости казаться таким? Этой странной задачей интересовались почти все значительные люди древнейших цивилизаций, существовала целая тайная наука приемов. Один и тот же рецепт был и у индусов для того, чтобы сделаться фокусником, и у гренландцев – чтобы сделаться ангекоком, и у бразильцев – чтобы сделаться пайе: посты, продолжительное половое воздержание, жизнь в пустыне, на горе или просто не думать ни о чем таком, что могло бы волновать или расстраивать. Кто отважится взглянуть в пустыню горьких и страшных душевных мучений, в которой томились самые плодотворные люди всех времен! Послушайте только вздохи этих пустынников! «Ах, дайте мне безумие, боги! безумие, чтобы я уверовал в самого себя! дайте мне конвульсии и бред, сменяйте мгновенно свет и тьму, устрашайте меня холодом и зноем, какого не испытывал еще ни один смертный; устрашайте меня шумом и блуждающими тенями, заставьте меня выть, визжать, ползать по земле, – но только дайте мне веру в себя! Сомнение терзает меня!… Новый дух, который во мне, – откуда он, если не от вас? покажите же мне, что я – ваш; только безумие докажет мне это». И эта мольба часто достигала своей цели.

13

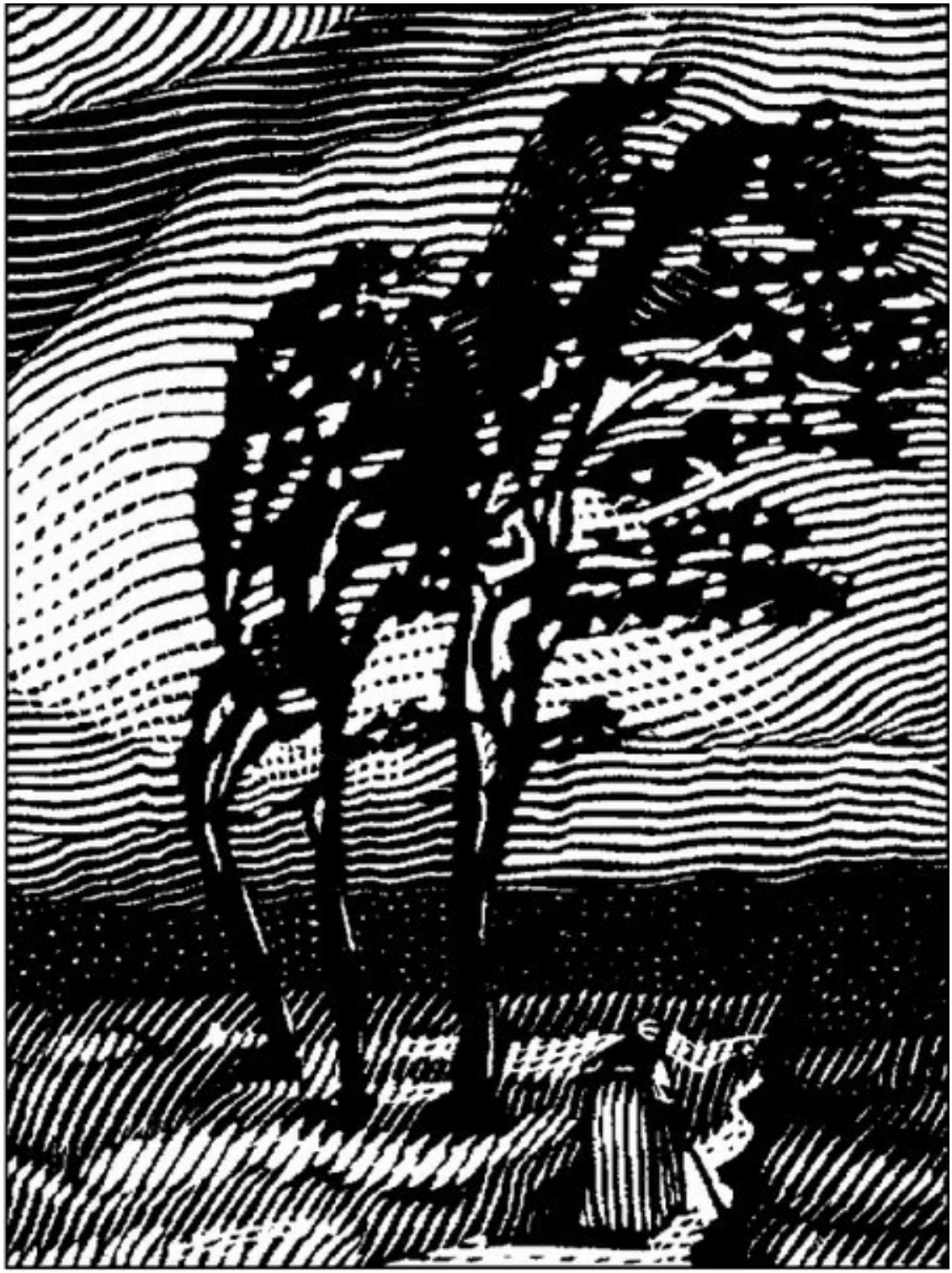
Древнейшее средство утешения. Первая ступень: человек видит в каждой болезни, в каждой неудаче нечто такое, за что он должен мстить кому-нибудь другому; при этом он чувствует еще в себе силу, и это утешает его. – Вторая ступень: человек видит в каждой болезни, в каждом несчастии наказание, т. е. очищение от греха и средство освободиться от злых чар действительной или воображаемой несправедливости. Видя такую выгоду, которую приносит с собою несчастие, он уже перестает думать, что за это надобно мстить другим, – он освобождается от такого рода удовлетворения, потому что для него есть удовлетворение другое.

14

Первое положение цивилизации. У диких народов есть обычаи, цель которых состоит, кажется, лишь в том, чтобы у народа был только обычай вообще. Это тяжелые и, в сущности, лишние законы: напр., камчадалы никогда не очищают снега с обуви ножом, не кладут железа в огонь: за нарушение этого полагается смерть. Такой факт подтверждает только великое положение, с которым вступает в историю цивилизация: лучше, чтобы народ имел какой бы то ни было обычай, чем чтобы не имел никакого.

15

Добрая и злая природа. Сначала человек придумал вмешаться в жизнь природы: всюду он видел себя и себе подобных, именно свой злой капризный характер: и в облаках, и в бурях, и в хищных зверях, и в деревьях, и в травах. Тогда-то он и нашел «злую природу». Потом настало время, когда он отделил себя от природы, время Руссо: люди так надоели друг другу, что захотели непременно иметь такой уголок мира, куда человек не приходит со своими терзаниями. Тогда изобрели «добрую природу».



16

Мораль добровольного страдания. Какое может быть высшее наслаждение для людей той маленькой, воинственной, постоянно находящейся в опасности общины, где царит самая строгая нравственность? А также для ее сильных, мстительных, злобных, коварных, хитрых душ, готовых на все самое страшное и закаленных лишениями и нравственностью? *Наслаждения* жестокости! В таком культурном состоянии добродетелью души считается изобретательность и ненасытность в жестокости; деянием жестокого наслаждается община, в ней черпает

она свою энергию и силу. Жестокость принадлежит к древнейшим праздникам человечества. Тогда думали, что даже и боги наслаждаются и радуются жестокими сценами, устраиваемыми человеком, – и таким путем незаметно проникло в мир представление, что *добровольное страдание*, самоистязание имеет какую-то цену. Мало-помалу в общине возникают обычаи, соответствующие такому представлению: при всех слишком больших удачах человек впадал в страх и сомнение, а при несчастиях он становился увереннее: может быть, говорили себе, боги разгневаются на нас за наше счастье и милостиво отнесутся к нам за наше несчастье. Не сострадательно, а *милостиво!* Сострадание презирается тогда и считается недостойным сильной и грозной души. Таким образом, в понятие «нравственного человека» общины входит добродетель частого страдания, лишения, суровой жизни, жестокого самобичевания; но, заметьте опять, все это считается нужным не как средство для воспитания, самообладания, поисков личного счастья, но как *добродетель*, угодная богам, как жертва очищения, постоянно требуемая для их алтаря. Все те духовные руководители народов, хотевшие достигнуть какой-нибудь цели, нуждались, кроме безумия, также и в добровольном истязании, чтобы найти доверие к себе, а главным образом и прежде всего, как и всегда, веру в самих себя. Чем дальше шел их дух по новому пути и, след., чем больше мучались они угрызениями совести и страхами, тем больше неистовствовали они против своего собственного тела, своих похотей, своего здоровья, – чтобы предложить божеству вознаграждение на тот случай, если ему не понравится пренебрежение к старому и стремление к новым целям. Вполне ли освободились мы сами от такой логики чувства? Пусть спросят об этом себя наиболее героические характеры! Каждый малейший шаг на поле свободного мышления самостоятельно устроенной жизни всегда приобретается ценою душевных и телесных страданий. Не только ход *вперед,* нет! самый ход, движение, перемена имели своих бесчисленных мучеников, особенно много бывало их в переходные, основополагающие, столетия. Конечно, когда говорят о «всемирной истории», не думают о них, об этом до смешного малом отрезке человеческого существования. И даже в этой так называемой всемирной истории, которая, в сущности, представляет только крик о последних событиях, нет более важной темы, как древняя трагедия мучеников, которые *хотели всколыхнуть болото.* Ни за что не заплачено было так дорого, как за ту малую частицу человеческого ума и чувства свободы, которая теперь составляет нашу гордость. Но эта же гордость делает почти невозможным для нас вспомнить те громадные эпохи «нравственности обычаев», которые предшествовали «всемирной истории» и, будучи *действительной и решающей главной историей, создали характер человечества.* Там страдание было добродетелью, добродетелью была жестокость, добродетелью было притворство, добродетелью была месть, добродетелью было сокрытие ума; там счастье было опасно, опасна была жажда знания, опасен был мир, опасно было сострадание; сделаться предметом сострадания там было позором, и позором был труд; безумие там считалось нисходящим от богов! Изменилось ли это, и изменило ли человечество свой характер?

17

Нравственность и отупение. Обычай есть результат опыта прежних поколений в вопросе о том, что полезно и что вредно. Но приверженность к обычаю не имеет никакого отношения к опыту как таковому: она объясняется древностью, святостью, неприкосновенностью обычая. И эта приверженность всегда мешала делать новые опыты и исправлять обычаи, т. е. нравственность препятствовала возникновению новых лучших обычаев: она *отупляла.*

18

Свободно поступающий и свободно мыслящий. Свободно поступающие оказываются внакладе против свободомыслящих, так как люди больше страдают от последствий поступков, чем

мыслей. Но если вспомнить, что и те и другие стремятся к своему удовлетворению, и что свободомыслящим доставляет удовлетворение мыслить и высказываться о запрещенных вещах, то в отношении мотивов они уравниваются. То же можно сказать и в отношении последствий, при том условии, если судить не по ближайшей и грубой реальности, т. е. не так, как судят все. Надобно многое отнять из клеветы, которой люди очерняли всех тех, кто своими действиями ломали обычаи. Каждый, кто ниспровергал существующий обычай, сначала постоянно считался *дурным человеком*, но потом, если не могли восстановить ниспровергнутый обычай и удовлетворялись новым, то предикат мало-помалу изменялся: история говорит почти об этих только *дурных людях*, которые позднее называются *хорошими.*

19

Исполнение закона. В случае, если исполнение морального предписания дает другой результат, чем было обещано и ожидалось, и приносит нравственным людям не обещанное счастье, а несчастие и беспомощность, то всегда возможна для мнительного и добросовестного человека оговорка: «здесь была какая-нибудь ошибка в *исполнении».* В крайнем случае глубоко страдающее и разбитое человечество постановит даже: «невозможно точно исполнить предписания, мы слишком слабы и грешны и неспособны к нравственности; поэтому мы не имеем права на счастье и успех. Нравственные предписания и обещания даны для существ лучших, чем мы».

20

Дела и вера. Протестантские учители говорят, что все заключается в вере, и что из веры необходимо должны следовать и дела. Это совершенно неверно, но звучит так соблазнительно, что обмануло не только Лютера, но и других, в том числе Сократа и Платона, хотя очевидность ежедневных фактов говорит против этого. Самое достоверное знание или вера не могут дать ни силы к делу, ни опытности в нем. Ни знание, ни вера не могут заменить работу тонкого и сложного механизма, которая должна совершиться для того, чтобы представление перешло в действие. Прежде всего и важнее всего дела! Дела и дела! А нужная для этого «вера» – будьте уверены – явится.

21

В чем мы наиболее развиты. Вследствие того, что в течение нескольких тысяч лет все вещи считались одушевленными и одухотворенными, могущими вредить человеку, то чувство бессилия среди людей развито было гораздо сильнее и встречалось гораздо чаще, чем это должно бы быть. Необходимо было овладеть вещами – как людьми, так и зверями – силой, принуждением, лестью, договорами, жертвами, – отсюда ведет свое происхождение большинство суеверных обрядов, т. е. значительная, может быть, преобладавшая и все-таки бесполезная, даром потраченная часть, человеческой деятельности. Но так как чувство бессилия и страха было в таком долгом и почти непрерывном напряжении, то у человека развилось такое тонкое и такое щекотливое чувство власти, точно самые чувствительные весы для золота. Оно сделалось его сильнейшей страстью.

22

Оценка предписания. Судить о том, хорошо или дурно предписание, напр., предписание печь хлеб, можно только по тому, получается обещанный результат или нет; конечно, при условии точного исполнения. Иначе обстоит дело с моральными предписаниями: здесь нельзя

видеть результатов. Эти предписания основываются на гипотезах наименьшей научной ценности, когда доказать или опровергнуть результаты, в сущности, одинаково невозможно. Но прежде, в эпоху невежества и небольших требований, предъявляемых к доказательству истинности слов, оценка хорошего или дурного предписания обычаев устанавливалась так же, как и теперь устанавливается оценка каждого предписания – указанием на пользу. Если у каких-нибудь дикарей Америки существует предписание: «нельзя кости животных бросать в огонь или отдавать собакам», – оно доказывается так: «сделай вопреки этому закону, – и ты увидишь, что тебе не будет счастья на охоте». Трудно таким путем оспаривать пользу предписания, особенно, если носителем наказания за нарушение предписания является целая община, а не отдельный человек; короче говоря, здесь всегда можно отыскать какое-нибудь обстоятельство, которое, по-видимому, говорит в пользу предписания.

23

Обычай и красота. В пользу обычая надобно сказать, что у всех, кто преданы ему вполне и от чистого сердца, исчезают органы для нападения и для защиты – как духовные, так и телесные, т. е. эти субъекты становятся заметно красивее! Упражнение же этих органов и соответствующих этому мыслей имеют в себе нечто некрасивое и делает человека некрасивым. Потому-то старый павиан некрасивее молодого, а молодая самка павиана очень похожа на человека, т. е. очень красива. Отсюда можно сделать заключение о происхождении красоты женщин!

24

Животные и мораль. Люди успеха! Заботливое желание избежать всего смешного, бросающегося в глаза; дерзкого; утаивание своих добродетелей и наиболее сильных страстей, уменье казаться равным с другими, сдерживать себя, – все это, как общественную мораль, можно найти в грубом виде, и в самом низком животном царстве. Но только здесь мы видим подоплеку этих красивых приемов: ускользнуть от преследователя и обеспечить себе добычу. Для этого-то животные приучаются владеть собой и так притворяться, что некоторые, напр., меняют свой цвет сообразно с цветом окружающей среды (в силу так называемых «хроматических функций»); они умеют казаться мертвыми; принимать форму и цвет другого животного, песка, листьев, гриба, лишая (то, что английские исследователи называют mimicry). Так и отдельный индивидуум теряется среди общего понятия «человек» или среди общества, стараясь держаться мнения партии, к которой он принадлежит. Даже и то чувство правды, которое, в сущности, есть чувство безопасности, у человека одинаково с животными: не хотят отдаться в обман, боятся обмануться сами, недоверчиво слушают голоса собственной страсти, насилуют себя, стоят настороже против самих себя: все это животное делает так же, как и человек, – и у животного из чувства действительности (из благоразумия) развивается самообладание. Животное точно так же наблюдает, какое действие оно производит на других зверей, отсюда учится оно наблюдать за собой, смотреть на себя «объективно», и доходит, таким образом, до некоторой степени самосознания. Животное судит о действиях своих врагов и друзей, оно запоминает их характерные свойства, оно приноравливается к ним; против одних оно ведет постоянную борьбу, с другими оно сходится с намерениями мира и договора. Начала справедливости, благоразумия, умеренности, храбрости, – короче все, что мы именуем *сократовскими добродетелями,* можно найти в животном мире, и составляет результат стремлений – найти пищу и избежать врага…

25

Вера в сверхчеловеческие страсти. Институт брака упорно поддерживает веру, что любовь, хотя и страсть, однако как таковая способна продолжаться долго, и что любовь, продолжающуюся всю жизнь, можно считать даже правилом. Ценность этой благородной веры, несмотря на то, что благодаря очень частым и почти обыкновенным противоречиям, она сделалась *pi a fraus,* дала любви высокое благородство. Все институты, которые дали страсти веру в их продолжительность, и которые ручаются за ее продолжительность вопреки самому свойству страсти, дали ей новое положение: тот, кто бывает охвачен страстью, не считает это, как прежде, унижением и опасностью для себя, наоборот, он возвышается в своих глазах и в глазах себе подобных. Вспомните об институтах и обычаях, создавших из возбуждения минуты – вечную верность, из искры гнева – вечную месть, из отчаяния – вечный траур, из мимолетного, единого слова – вечное обязательство: отсюда масса лести и лжи в мире, так как все это по силам существу *сверхчеловеческому*; это-то и возвышает человека!

26

Расположение как аргумент. Что бывает причиной смелой решимости к делу? Этот вопрос часто занимал людей. В древности отвечали: причиной этой решимости служит Бог; этим Он дает нам понять, что Он согласен с нашей волей. Когда спрашивали оракула о каком-либо предприятии, от него хотели получить большую решимость к делу. И когда человеку представлялся выбор между несколькими действиями, он отвечал на эти сомнения так: «я буду делать то-то, потому что к этому лежит мое сердце». След., делали выбор, руководствуясь не рассудком, а тем, что в глубине души человека таились расположение к данному поступку и надежда на успех. Расположение было на чаше весов в качестве аргумента и перетягивало рассудочность; а иногда суеверие заставляло считать расположение внушением, исходящим от сверхъестественной силы, которой обещался успех делу. Представьте теперь, какие последствия могли произойти от этого предрассудка! Им можно было заменить все доводы и победить все возражения!

27

Актеры добродетели. Среди людей древности, прославившихся своей добродетелью, было, как кажется, очень много таких, которые актерствовали перед самими собой; греки, как прирожденные актеры, делали это, вероятно, совершенно непроизвольно, и находили это хорошим. Здесь каждый *состязался* своей добродетелью с добродетелью другого и всех других: как не применить было здесь всех искусств для того, чтобы выставить свою добродетель прежде всего перед самим собой, уже ради упражнения только! Какая польза от добродетели, которую нельзя показать, или которая не умеет показать себя! Этих актеров уничтожило христианство.

28

Утонченная жестокость в роли добродетели. Вот нравственность, которая всецело покоится на желании отличиться. Что собственно это за желание, и какова ее задняя мысль? Хочется нам сделать так, чтобы вид наш доставлял другому страдание и возбуждал в нем зависть, заставляя его чувствовать свое бессилие и унижение; нам хочется заставить его почувствовать горечь его судьбы и, капая на его язык каплю *нашего* меда, прямо и злорадно смотреть ему в глаза при этом мнимом благодеянии. Вот человек скромный, – но поищите, и вы, наверное, найдете людей, которым он старается причинить этим самым пытку. Другой выказывает

сострадание к животным и служит предметом удивления, – но есть люди, которым он старается причинить страдание именно этим своим свойством. Вот стоит великий художник: наслаждение, которое испытывает он, зная зависть побежденных соперников, дает энергию его силам и помогает ему сделаться великим: скольких горьких минут стоило другим его величие! Непорочность монахини: какими глазами смотрит она в лицо других женщин!.. Тема не велика, но вариантов можно набрать без числа, и это следовало бы сделать, так как парадоксальна и нова мысль, что мораль отличия, в последнем основании своем, имеет наслаждение от утонченной жестокости. В последнем основании – это должно обозначать здесь «в первом поколении». Если привычки передаются по наследству, то задняя мысль не наследуется, так как наследственностью передаваться может только чувство, а не мысль. Таким образом, во втором поколении наслаждение, получаемое от жестокости, исчезнет, если оно не будет вновь развито воспитанием; останется только одно наслаждение, получаемое от привычки. Это наслаждение первая ступень к «добру».

29

Гордость духом. Гордость человека, возмущающаяся учением о происхождении людей от животных и предполагающая большую пропасть между природой и человеком, имеет в своем основании предрассудок, что такое дух, и этот предрассудок сравнительно *нов.* В долгую доисторическую эпоху человечества дух видели всюду в природе и не считали его исключительным свойством человека, так что многие знаменитые семьи не стыдились производить свой род от животных, деревьев и т. д., и даже видели в этом особую честь: духом считалось тогда то, что связывает нас с природой, а не то, что отделяет нас от нее. Так воспитывались в скромности, и точно так же вследствие *предрассудка.*

30

Тормоз. Нравственно страдать и потом услышать, что в страдании такого рода заключается ошибка, – это возмущает. Действительно, большое утешение – подтверждать своими страданиями «более глубокий мир правды», чем всякий другой мир; и всякий охотнее согласится страдать и чувствовать себя возвысившимся над действительностью (сознавая свою близость к тому «более глубокому миру»), чем жить без страданий, но зато и без этого возвышающего чувства. Это – гордость, и обычный прием удовлетворять ее, противоречит новому пониманию морали. Чем устранить этот тормоз? Большей гордостью?

31

Пренебрежение причинами, следствиями и действительностью. Те несчастные случайности, которые постигают общину: бури, неурожаи, засухи, – наводят всех членов ее на подозрение, что совершено нарушение каких-нибудь обычаев или что должны быть придуманы новые обряды, при помощи которых можно было бы успокоить демоническую силу. Таким образом эти сомнения и подозрения оставляли в стороне истинные естественные причины и предполагали причины демонические. Отсюда вышла и продолжалась наследственная извращенность человеческого интеллекта. Рядом с этим для этой извращенности был еще другой источник: настоящим, естественным следствиям действия верили гораздо меньше, чем сверхъестественным – так называемым наказаниям и милостям богов. Напр., обычаи требуют определенных омовений в определенное время, и совершают омовения *не затем, чтобы* сделаться чистыми, *а потому*, что существует такой обычай; стараются избежать не естественных последствий нечистоты, а гнева богов за нарушение обычая омовения. Под влиянием суеверного страха начинают подозревать, что омовение нечистоты имеет еще какое-то гораздо большее

значение, теряют в конце концов всякий смысл действительности и начинают считать омовение *символом.* Так упускал из виду человек, в эпоху «нравственности обычаев», сначала причины, потом следствия и, наконец, действительность, и связывал все свои чувства с воображаемым миром, с так называемым высшим миром. Следы этого мы видим и теперь еще: где чувство человека возвышается, там всегда на сцене воображаемый мир. Печально, но приходится заподозрить *все высшие чувства* – так тесно связаны они с безумием и бессмыслицей. Не таковы они в сущности, и не могут навсегда оставаться такими: из всех медленных *очищений* очищение высших чувств – самое медленное.

32

Нравственные чувства и нравственные понятия. По-видимому, нравственные чувства так передаются, что дети, вырастая, ощущают сильные симпатии или антипатии к определенным действиям, и они, как обезьяны, *подражают* этим склонностям и нерасположениям; позднее, когда они уже научатся этим аффектам, они считают приличным поставить запоздавшее «почему?» для того, чтобы оправдать те склонности и нерасположения. Подыскивая эти оправдания, они не обращают внимания на происхождение чувства: они стараются оправдаться только потому, что разумное существо должно иметь причины своих симпатий и антипатий, и притом причины – приемлемые. Поэтому история моральных чувств совсем иная, чем история моральных понятий: первые *предшествуют* действию, последние *следуют за* действием, ввиду необходимости высказаться о них.

33

Чувства и их происхождение от суждений. «Доверяй своему чувству!» Но чувства не конец и не начало: позади чувств стоят суждения и оценки, которые наследуются нами в форме чувств (симпатий, антипатий). Настроение, которое ведет свое происхождение от чувства, есть внук суждения – часто ложного и, во всяком случае, не своего собственного. Доверять своему чувству – это значит повиноваться деду, бабке и их родителям более, чем нашим собственным властелинам – рассудку и опыту.

34

Глупость благочестия с задней мыслью. Как! Изобретатели первобытных культур, древнейшие мастера орудий и межевых шнурков, колесниц, кораблей… первые наблюдатели законов движения небесных светил и правил умножения – были нечто несравненно другое и несравненно высшее, чем изобретатели и наблюдатели наших времен? Первые шаги так важны и ценны, что с ними не могут сравниться все наши путешествия и открытия? Так говорит предрассудок, так аргументируют в пользу умаления значения современного духа. Однако ясно, что случай тогда был величайшим изобретателем и благодетельным внушителем тех изобретательных веков; и что теперь, при одном самом незначительном открытии, ум, образование и научная фантазия действуют в большей мере, чем прежде в целые эпохи вообще.

35

Ложные заключения из полезности. Если доказали высшую полезность вещи, то этим еще не сделали ни одного шага для объяснения ее происхождения: т. е. полезность вещи не говорит еще о необходимости ее существования. Но до сих пор господствовало именно такое превратное суждение – и даже в области самой строгой науки. В астрономии полезность (мнимую) спутников выдали за конечную цель их происхождения, именно чтобы восполнить каким-

нибудь путем свет, ослабленный большим расстоянием от солнца, и чтобы жителям планет не было недостатка в свете. Стоит только вспомнить заключения Колумба: земля сотворена для людей; след., если есть земля, она должна быть заселена. «Возможно ли, чтобы солнце светило даром и чтобы ночные караулы звезд расточались без пользы на непроходимых морях и безлюдных землях?».

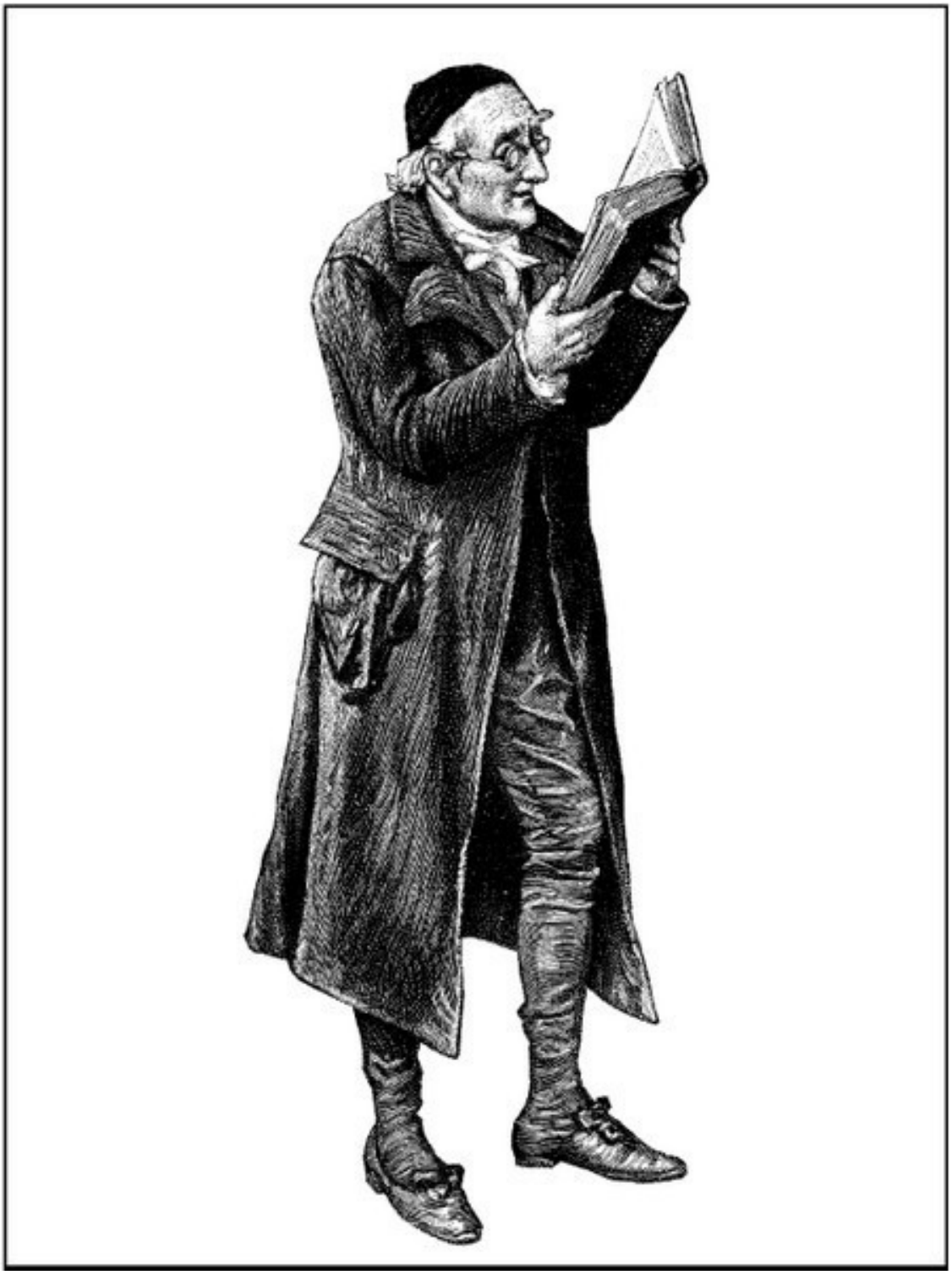
36

Влечения, преобразованные моральными суждениями. Одна и та же склонность развивается в томительное чувство трусости под впечатлением порицания, которым клеймят это чувство обычаи, или в приятное чувство смирения, если нравы, как, напр., христианские, называют его *хорошим*, т. е. все дело зависит от того, чиста или не чиста бывает совесть. Сама по себе интересующая нас склонность, как и всякая склонность, не имеет ни этого, ни вообще какого-нибудь морального характера или имени, ни даже определенного сопровождающего ощущения удовольствия или неудовольствия: все это она приобретает только впоследствии, как свою вторую природу, когда она вступает в соприкосновение со склонностями, которые окрестили уже хорошими или дурными, или когда она является качеством существ, моральная оценка которых уже установлена народом. Так, древние греки понимали зависть иначе, чем мы: Гесиод причисляет ее к действиям *доброй*, благодетельной Эрис, и для них не казалось предосудительным представлять своих богов завистливыми. И это вполне понятно для той эпохи, душою которой была борьба, а борьба пользовалась тогда высокой оценкой.

Точно так же древние греки понимали *надежду* иначе, чем мы: им казалась она слепой и коварной. Гесиод говорит о ней в одной басне и притом так странно, что его не понял ни один из новых толкователей, так как его рассказ находится в диаметральном противоречии с современным духом, который научился, под влиянием христианства, видеть в надежде добродетель; иудеи понимали гнев иначе, чем мы, и называли его священным. Мрачное величие гневного человека представлялось им стоящим на такой высоте, какую европеец не может представить себе: своего гневного Иегову они создали по своим гневным пророкам.

37

Оценка созерцательной жизни. Мы, люди созерцательной жизни, не должны забывать, сколько зла и несчастий принесло созерцание людям активной жизни. Во-первых, брамины, напр., ставили своей целью постоянно затруднять жизнь практическим людям и отбивать у них, насколько возможно, энергию к деятельности. Во-вторых, художники. Они всегда были людьми нетерпеливыми, капризными, завистливыми, склонными к насилию, беспокойными; такое впечатление, получаемое от них, уменьшает возвышающее и просветляющее впечатление, получаемое от их произведений.



В-третьих, философы, совмещающие в себе и религиозную и художественную созерцательную жизнь, рядом с которыми имеет место третья – диалектическая созерцательная жизнь, страсть к доказательствам; они производили на мир такое же влияние, как и первые два рода людей, предававшихся созерцательной жизни, и своей диалектической страстью делали людей нерешительными. В-четвертых, – мыслители и ученые. Они редко искали влияния на людей, чаще закапывались они тихо в свои кротовые норы; часто они служили не предметом досады и нерасположения, а предметом насмешек, и этим против своей воли доставляли облегчение людям активной жизни. Наконец теперь наука сделалась полезной для всех, и если ради этой пользы очень многие, предназначенные к активной жизни, пошли по пути науки в поте лица

своего и не без проклятий, то за это зло на ученых и мыслителей не падает никакой вины: это самоистязание.

38

Возникновение созерцательной жизни. В малоцивилизованные времена, когда господствуют пессимистические суждения о человеке и о мире, индивидуум, чувствуя в себе полноту сил, всегда старается действовать согласно с этими суждениями, т. е. переводить представление в действие, причем пользуется охотой, грабежом, набегом, обманом, убийством и вообще всякими другими приемами, терпимыми в общине. Когда же сила оставляет его, когда он чувствует себя утомленным, больным, впадает в уныние или испытывает пресыщение, – вследствие этого временами он впадает в апатию, его желания и страсти притупляются, и он становится сравнительно лучшим, т. е. менее вредным человеком. Его пессимистические представления выражаются тогда только в словах и мыслях, напр., о качествах его товарищей, жены, жизни, богов… Его суждения становятся суждениями *дурными*. В таком состоянии превращается он в мыслителя, прорицателя; он создает суеверия, новые обычаи, смеется над своими врагами. Но все, что придумывает он, все создания его духа носят на себе печать его состояния, т. е. страха, утомления, разочарования; содержание этих созданий должно соответствовать содержанию этих поэтических или философствующих настроений: в них должно царить дурное суждение. Позднее, все те, которые продолжали делать то, что прежде делал он один в таком состоянии, которые, следовательно, имели дурные суждения, вели меланхолическую и бездеятельную жизнь, – они становились то поэтами, то мыслителями, то чародеями. Таких людей, за их бездеятельность и ничтожество, следовало бы исключать из общины. Но это было опасно, – их охраняло суеверие о присутствии у них следов божественных сил: никто не сомневался, что они обладают неведомыми средствами власти. Так смотрели на древнейшее поколение созерцательных натур; их презирали лишь постольку, поскольку не боялись! В таком замаскированном виде, в таком двусмысленном положении, со злым сердцем и часто с беспокойной головой впервые появилось на земле *созерцание*, сначала слабое и страшное, втайне презираемое, и явно почитаемое с суеверным благоговением! Здесь, как и всюду, можно сказать *pudenda origo!*

39

Сколько сил должно теперь соединяться в мыслителе. Освобождение от чувственного созерцания и *возвышение* к абстрактному – некогда чувствовалось действительно как *возвышение*, но мы уже не можем более ощущать этого. Парение среди неуловимых образов, игра в такие невидимые, неслышимые, неощущаемые существа чувствовалась тогда как бы жизнь в другом *высшем* мире, и исходила из глубокого презрения чувственно осязаемого, соблазнительного и злого мира. «Эти абстракции не соблазняют, они руководят!» В доисторическое время науки этим «высшим миром» была игра в духовность, а не содержание этой игры в духовность. Этим-то и объясняется удивление Платона перед диалектикой и его восторженная вера в ее необходимую связь с хорошим, свободным от чувственности человеком. Были анализированы и открыты способы познания вообще, состояние и те процессы, которые в человеке предшествуют познанию. И всякий раз казалось, что вновь открытый процесс или вновь ощущаемое состояние – не средство к познанию, но содержание, цель, сумма познаваемого. Мыслитель нуждается в фантазии, в полете мысли, в абстракции, в воспоминании, в изобретательности, в догадке, в индукции, в диалектике, в дедукции, в критике, в собирании материала, в созерцании и т. д., но не в справедливости и не в любви ко всему, что бы ни было; все эти средства считались, в истории созерцательной жизни, делами и притом конечными целями,

и давали их изобретателям то блаженство, которое нисходит в человеческую душу, когда ей светит конечная цель.

40

Происхождение и значение. Почему мне снова и снова приходит эта мысль и расцвечивается для меня все более и более пестрыми красками? – что *прежде* исследователи, если они бывали на пути к происхождению вещей, думали, что они открывают нечто такое, что имеет неоценимое значение для всякого действия и суждения, и даже постоянно предполагали, что от познания происхождения вещей зависит спасение человека; что теперь мы, наоборот, чем дальше продвигаемся к началу вещей, тем меньше мы интересуемся ими, и даже наши оценки вещей и наши «заинтересованности» ими начинают терять свой смысл, чем больше мы углубляемся в познание вещей. Поиски *начала показывают незначительность начала,* но при этом то, что ближе к нам – что около нас и в нас – начинает, мало-помалу, показывать свои краски и красоты, свою загадочность и богатство значения, о которых прежние люди даже и не грезили. Прежде мыслители ходили, подобно пойманным зверям, постоянно злобно озираясь на прутья своей клетки и бросаясь на них с целью разбить их, и счастлив казался тот, который думал, что он видит сквозь отверстие что-нибудь из того, что происходит снаружи, по ту сторону, вдали.

41

Трагический выход познания. Из всех средств, способных возвышать, человеческие жертвы наиболее возвышали человека во все времена. Но и это средство могло бы быть превзойдено другим чрезвычайным средством, могущим победить победоносных, – средством *приносящего себя в жертву человечества.* Но кому в жертву оно могло бы принести себя? Можно клятвенно поручиться, что если когда-нибудь звезда такой мысли появится на горизонте, то, значит, познание правды осталось единственной великой целью, так как только ей подобает такая жертва, ибо для нее нет слишком большой жертвы. Между тем никогда еще не ставилась проблема: насколько возможно человечеству, как целому, достичь обладания правдой? Не говоря уже о том, какая страсть к познанию могла бы заставить человечество жертвовать собой, чтобы умереть со светочем мудрости в очах! Может быть, если когда-нибудь целью познания будет поставлен братский союз с жителями других планет, и в течение нескольких тысячелетий будут сообщать свое знание от звезды к звезде, – может быть, тогда восторги познания подымутся на такую головокружительную высоту!

42

Слова в качестве препятствия. Древние, ставя слово, воображали, что они делали целое открытие. На самом деле это было далеко не так! Они ставили проблему и, желая разрешить ее, создавали своим приемом препятствия к ее разрешению. Теперь, при каждом познании, приходится натыкаться на окаменевшие, увековечившиеся слова, и скорее сломаешь ногу, чем слово.

43

«Познай самого себя» – целая наука. Только в конце познания всех вещей человек познает самого себя: вещи – только границы человека.

44

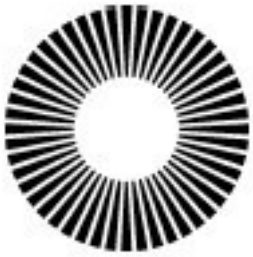
Новое основное чувство: наша бренность. Прежде старались создать чувство величия человека тем, что указывали на его Божественное *происхождение*; теперь этот путь запрещен: у входа на него поставили обезьяну с другим страшным чудовищем, и она внушительно скрежещет зубами, как бы желая сказать: Не сметь идти по этой дороге! Теперь обратились к другому направлению, к цели, *куда* идет человечество, и указывают на этот путь, как на доказательство его величия и родства с Богом. Увы! путь каждого из нас кончается могильным памятником с надписью: *nihil humani a me alienum puto.* На какую бы высокую ступень развития ни поднялось человечество – может быть, в конце оно будет стоять выше, чем вначале! – нет для человечества перехода в высший порядок. Становление (das Werden) влечет за собой исчезновение; зачем же из этой вечной игры делать исключения для какой-то планетки! И на этой планетке для одного вида, живущего на ней? Прочь эти сентиментальности!

45

Вера во вдохновение. Люди возвышенных и вдохновенных минут, которые в обыкновенном своем состоянии или по случаю болезни бывают беспомощны и безутешны, видят в этих минутах свое нормальное состояние как человека, свое «я», а состояние беспомощности и безутешности считают навеянными вчуже, из «вне я». И потому они вспоминают об окружающей среде, о своем времени, о всем своем мире со злобным чувством. Вдохновение для них настоящая жизнь, их «я»; во всем остальном они видят преступников, врагов этого состояния, к какой бы области человеческой жизни оно ни принадлежало. Эти фанатики причинили человечеству много зла: они неутомимые сеятели плевел недовольства собою и ближними, презрения эпохой и миром, и вообще муки миром. Целый ад преступников едва ли мог бы оказать такое удручающее, заражающее воздух, неприятное влияние и на такое громадное пространство времени, как эти сумасброды, полусумасшедшие, гении, не могущие владеть собою и только тогда испытывающее удовольствие, когда теряют часть сознания. Между тем «преступник» часто обнаруживает в себе значительное самообладание, самопожертвование и рассудительность и вызывает к жизни те же качества у тех, которые его боятся. Быть может, небо становится от него мрачнее, но воздух крепче и свежее. Кроме того, те фанатики всеми своими силами насаждают веру в восторженность, как в жизни: страшная вера! Как дикари развращаются и быстро вымирают от водки, так и человечество развращалось, опьяняясь духовной водкой и, может быть, пошло уже к разложению.

46

Каковы мы есть. «Будем снисходительны к великим слепцам», – сказал Стюарт Милль. А я говорю: «будем снисходительны к зрячим, великим и малым», – потому что большего, чем снисхождение, мы не можем дать в том положении, в каком мы находимся.



Книга вторая

Природа и история морального чувства

47

Становятся нравственными *не потому, чтобы были нравственными.* Подчинение морали может быть или рабским, или суетным, или своекорыстным, или самоотверженным, или глупо восторженным, или бессмысленным, или актом отчаяния: само по себе это не содержит ничего нравственного.

48

Изменчивость морали. Изменяют мораль, работают над ее преобразованием те, кто с успехом совершает все, что ни захочет, каков бы ни был его поступок.

49

В чем мы все неутомимы. Мы постоянно делаем заключения из суждений, которые считаем ложными, из учений, в которые мы не верим, – при содействии наших чувств.

50

Пробудиться от сна. Благородные и умные люди верили когда-то в музыку сфер. Благородные и умные люди верят и теперь еще в «нравственное значение жизни». Но в один прекрасный день эта сферическая музыка не слышна стала их уху! Они проснулись и увидели, что эту музыку они слышали во сне.

51

Древнейшие моральные суждения. Как поступаем мы при виде человека вблизи нас? Сначала мы смотрим на то, что из его поступков выйдет для нас; мы смотрим на него только с этой точки зрения. Это следствие мы принимаем за намерение его действий, и, наконец, приписываем ему обладание такими намерениями как бы в постоянное его качество, и называем его, напр., «вредным для нас человеком». Тройное заблуждение, тройная старинная ошибка! Можно ли искать начало морали в этих мелочных выводах: «что мне вредно, то *дурно* (вредно само по себе)»; «что мне полезно, то *хорошо* (благодетельно, полезно само по себе); «что мне принесло вред один или несколько раз, то враждебно само по себе»: «что принесло мне пользу один или несколько раз, то приятно само по себе». *O pudenda origo!* Если кто случайно поступит дурно по отношению к другому, можно ли сказать, что такова его природа, и утверждать, что он способен только к таким поступкам, к таким отношениям и к другим, и к себе. Не скрывается ли здесь самая смелая из всех мыслей: что мы сами должны быть принципом блага, если по себе мы мерим добро и зло?

52

Есть два рода людей, отрицающих нравственность. «Отрицать нравственность» – это, *во-первых* значит отрицать возможность того, чтобы нравственные мотивы, на которые ссыла-

ются люди, действительно руководили ими в их действиях, – Другими словами, – это значит утверждать, что нравственность состоит в словах и принадлежит к самым грубым и тонким обманам (именно к самообману) людей, и это касается, может быть, именно людей, наиболее выдающихся добродетелями. *Во-вторых*, «отрицать нравственность» значит отрицать, что нравственные суждения основываются на истинах. В этом последнем случае предполагается, что нравственные суждения были действительно мотивами действия, но что человека привели к его нравственным действиям ошибки, служащие основой всего нравственного суждения. Это – *моя* точка зрения. Я не отрицаю, что многих поступков, которые называются безнравственными, надобно избегать и надобно сдерживать их. Я не отрицаю, что следует делать и требовать, чтобы делали многое из того, что называется нравственным. Но то и другое должно *стоять на иной почве, чем это было до сих пор.* Мы должны переучиться, чтобы, наконец, может быть и поздно, достигнуть большего – *изменить свои чувства.*

53

Наши оценки. Все действия сводятся к оценкам; все оценки бывают или наши собственные или усвоенные; последних гораздо больше. Почему усваиваем мы их? Из страха, – т. е. мы считаем более полезным поставить себя в такое положение, как будто бы они были и наши собственные, и приучаем себя к этому притворству, так что оно, наконец, становится нашей натурой; иметь собственные оценки – это значит измерять вещь в отношении к тому, сколько удовольствия или неудовольствия делает она именно нам и никому другому – нечто чрезвычайно редкое. Но, по крайней мере, наша оценка другого, в которой лежит мотив, что мы в большинстве случаев пользуемся *его* оценкой, должна же исходить от нас, быть нашим собственным определением? Да, но мы делаем ее, будучи детьми, и редко пересматриваем ее снова; мы оцениваем наших ближних по-детски и находим нужным преклоняться потом перед их оценкой.

54

Мнимый эгоизм. Большая часть, хотя и говорит и думает постоянно о своем «эгоизме», однако в течение всей своей жизни ничего не делает для своего *ego,* но только для фантома этого *ego,* какой составился о нем в головах окружающей их среды и сообщился им. Вследствие этого все они вместе живут в тумане безличных, полуличных мнений и произвольных, почти фантастических, критериев, – один постоянно в голове другого, а этот другой, в свою очередь, в голове третьего: странный мир фантастических образов, который вдобавок умеет придать себе такой трезвый вид. Этот туман мнений и привычек растет и живет почти независимо от людей, которых он покрывает; в нем заключается страшная сила всеобщих суждений о «человеке»; все эти неведомые сами себе люди верят в лишенный крови и тела абстракт «человека», т. е. в фикцию; и каждая перемена, которая совершается с этой абстракцией, благодаря суждениям отдельных сильных людей (философов, напр.), действует на массы чрезвычайным образом. Все это потому, что каждый индивидуум в этой массе не может противопоставить этой безжизненной фикции действительного, ему доступного, им обоснованного *ego,* и этим уничтожить фикцию.

55

Против определений моральных целей. Цель морали теперь почти всюду определяется так: сохранение и движение человечества вперед. Но это значит хотеть только иметь формулу, и больше ничего. Сохранение – *в чем?* Движение – *куда?* Не выпущены ли в форму те самые существенные моменты – ответ на эти «в чем» и «куда»? Какое учение об обязанностях можно создать с этой формулой? Возможно ли из нее угадать, насколько продолжительное существо-

вание предстоит человечеству? Очень ли далеко уйдет оно вперед? Как различны должны быть в этих обоих случаях средства, т. е. практическая мораль! Если предположить, что человечеству хотят дать высшую, возможную для него разумность, то это, конечно, еще не значит, что ему дают высшую, возможную для него продолжительность существования? Если предположить, что, может быть, это «в чем» и «куда» заключает в себе «высшее счастье», думают ли при этом о той высшей ступени, которой, мало-помалу, могут достигнуть отдельные люди? Или о вообще совсем не ожидаемом, но, в конце концов, достигаемом среднем счастье всех? Почему же тогда путем к этому должна быть мораль? Разве люди, придерживающиеся морали, не оказывались недовольными собой, ближними и своим жребием?

56

Наше право на нашу глупость. Как поступать? Для чего поступать? При ближайших потребностях индивидуума ответить на эти вопросы очень легко, но чем сложнее, обширнее, важнее становится область действия, тем неопределеннее, а след., и произвольнее может быть ответ. Но именно произвольность-то и должна быть отсюда исключена! Так требует авторитет морали. Этот авторитет морали связывает мысль с вещами, где было бы опасно *ложно* мыслить; таким образом она обыкновенно оправдывается перед своими обвинителями. «Ложно» здесь значит – «опасно».

Но опасно для кого? Обыкновенно носители авторитетной морали имеют перед глазами собственно не опасность действующего, но их собственную опасность, возможность для них лишиться власти и значения, как только дано будет всем право поступать произвольно, по собственному большому или малому разумению, т. е. ради самих себя делают они немыслимым пользоваться правом произвольности и глупости, – они приказывают даже там, где трудно ответить на вопросы «что делать?», «к чему делать?». И если разум человечества растет так необыкновенно медленно, что часто для всего хода человечества факт этого роста отрицается, – кто же больше виновен в этом, как не это вездесущее моральных приказаний, которые не позволяют громко поставить индивидуальный вопрос: «как? для чего?» Воспитание дает нам патетические чувства и блуждание во тьме, тогда как разум должен был бы смотреть холодно и ясно! И притом во всех более высоких и важных случаях.

57

Отдельные положения. Если индивидуум хочет счастья, ему не надобно давать никаких предписаний о пути к счастью: индивидуальное счастье вытекает из собственных неизвестных другим законов; предписания, даваемые извне, могут только тормозить и мешать. Предписания, которые называют моральными, имеют, в действительности, целью ограничить индивидуумы; если моральные предписания говорят о «счастье и благополучном ходе человечества», то с такими общими словами нельзя соединять каких-нибудь строгих понятий, не говоря уже о том, что их нельзя поставить маяком на темном океане бурных человеческих стремлений. Неправда, что бессознательной целью каждого сознательного существа (животного, человека, человечества) служит достижение «высшего счастья». Напротив, на всех ступенях развития есть особенное, ни с чем не сравнимое, ни высшее и ни низшее, а именно свое особенное, характерное счастье. Развитие ищет не счастья, а только развития и больше ничего.

Только в том случае, если бы человечество имело общепризнанную цель, можно было бы делать предписания: «поступать так-то и так-то», но такой цели нет.

Если человечеству рекомендовать цель, тогда цель будет мыслиться как нечто такое, что лежит в нашем желании. Но моральные предписания как таковые должны стоять выше желания; таких предписаний нельзя давать, их надобно брать, получать откуда-нибудь.

58

Самообладание и умеренность: их последний мотив. Я нахожу только шесть существенно различных методов, чтобы побороть силу страсти. Во-первых, можно удаляться от поводов для удовлетворения страсти и соблюдать промежутки времени, в которых страсть не будет удовлетворяться, все более и более продолжительными; таким образом, страсть постепенно потеряет свою силу и замрет. Во-вторых, можно поставить себе законом строгий последовательный порядок в удовлетворении страсти, внеся, таким образом, в нее порядок и заключив ее ход и пространство в определенные границы времени. Мы получим промежутки, когда страсть не будет смущать нас, – а отсюда можно перейти к первому методу. В-третьих, можно намеренно отдаться дикому, необузданному удовлетворению страсти, чтобы получить отвращение, а вместе с отвращением и власть над страстью, предполагая, конечно, что будешь поступать при этом не так, как всадник, который, очертя голову, гонит своего коня и ломает себе шею, – чем, к сожалению, часто кончается такая попытка. В-четвертых, есть интеллектуальный прием, именно, соединять с удовлетворением какую-нибудь тяжелую мысль так тесно, чтобы, после нескольких случаев, мысль об удовлетворении тотчас же вызывала тяжелое чувство. Напр., у христианина с мыслью о преступлении соединяется мысль о вечном наказании в аду; при мысли о воровстве у нас возникает всегда мысль о презрении, которое падет на нас со стороны уважаемых нами людей; или если кто-нибудь упорному желанию самоубийства в сотый раз противопоставит мысль о том горе, которое причинит родным его поступок, – такие мысли начинают чередоваться в нем как причины и следствия. Сюда принадлежат также и те случаи, когда гордость человека, как, напр., у лорда Байрона или Наполеона, возмущается, оскорбляется перевесом отдельного аффекта над всеми чувствами и рассудком: отсюда желание тиранизировать страсть и умертвить ее. В-пятых, предпринимают дислокацию своих сил, начиная какую-нибудь тяжелую напряженную работу или намеренно подставляя себя чарам нового удовольствия, – таким образом и мысли и силы направляются в другую сторону. Равным образом можно временно покровительствовать другой страсти, удовлетворять ее и сделать ее расточительницей тех сил, которыми, в противном случае, повелевала бы главная страсть. Иные, правда, умеют держать в узде отдельную страсть, которая могла бы играть роль повелителя, давая некоторую волю всем другим, известным ему, страстям, и позволяя им пользоваться тем запасом, которым хотел воспользоваться неограниченно тиран. Наконец, в-шестых, кто сможет и сумеет ослабить всю свою телесную и духовную организацию и привести ее в угнетенное состояние, тот, конечно, этим достигнет цели обессилить отдельную страсть.

След., избегать поводов, вводить порядок в страсть, достигать пресыщения и отвращения к ней, вызывать ассоциацию мучительной мысли (стыда, дурного последствия, оскорбленной гордости), дислокацию сил, и, наконец, общее ослабление и истощение – вот эти шесть приемов; но мы вообще не обладаем силой побороть упорство страсти, какой бы прием мы ни применяли для этого, и какой бы успех ни имели. Вернее сказать, при всем этом процессе наш интеллект является только слепым орудием *другой страсти*, играющей роль *соперника* той, которая мучит нас; желание ли это покоя, страх перед позором и другими дурными последствиями или любовь. В то время как мы думаем, что «мы» жалуемся на одну страсть, это, в сущности, жалуется *одна* страсть на *другую.* Боль от страсти ощущается потому, что есть другая такая же сильная, а может быть, и более сильная страсть; потому что этим страстям предстоит вступить в борьбу, в которой должен принять участие наш интеллект.

59

То, *что сопротивляется.* Можно наблюдать на себе следующий процесс, и я хотел бы, чтобы он наблюдался часто и подтвердился. В нас возникает чутье известного рода *удоволь-*

ствия, которого мы еще не знаем, и, следовательно, возникает новое *требование.* Теперь дело в том, *что* сопротивляется этому *требованию:* это – вещи и соображения общего свойства; люди, к которым мы относимся без большого уважения, – таким образом, цель нового требования облекается чувством «благородного, хорошего, достойного похвалы, достойного жертвы», пропитывается всем унаследованным моральным запасом, – и мы уже не думаем больше о своем удовольствии, мы стремимся быть только моральными, а от этого зависит и твердость нашего стремления.

60

Объективность. Кто, как дитя, усвоил от своих родных и знакомых, среди которых он вырос, разнообразные и сильные чувства, но мало тонкого суждения и стремления к интеллектуальной справедливости, и таким образом употребил лучшие свои силы и время на подражания чувствам, – тот, сделавшись взрослым, замечает, что каждая новая вещь, каждый новый человек возбуждают в нем симпатию или отвращение, зависть или презрение. Под впечатлением этого опыта, против которого он чувствует себя бессильным, он удивляется *нейтральности чувства* или «объективности» как чуду, как свойству гения и самой редкой морали; он не хочет верить, что оно только дитя воспитания и привычки.

61

Естественная история обязанности и права. Наши обязанности – права других на нас. В силу чего они приобрели их? В силу того, что они считали нас способными к договору и к отплате, ставили нас наравне с собою; они доверяли нам что-нибудь, воспитывали нас, наставляли нас на путь, поддерживали нас. Мы исполняем нашу обязанность, т. е. мы оправдываем то представление о нашей способности, предположением о которой было вызвано все то отношение к нам; мы отдаем назад в той мере, в какой давали нам. Наша *гордость* заставляет нас исполнять обязанность, мы хотим восстановить нашу самостоятельность, независимость, противопоставляя тому, что сделали другие для нас, что-нибудь такое, что делаем мы для них. Если бы мы своей «обязанностью» не давали вознаграждения тем, кто что-нибудь сделал для нас, т. е. если бы мы не вторгались в сферу их силы и способностей, то они долго держали бы нас в своих руках. Только того, что находится в нашей власти, могут касаться права других: было бы неразумно, если бы они захотели иметь от нас что-нибудь такое, что не принадлежит нам самим. Точнее говоря, только того, что считают они стоящим в нашей власти, при условии, что и сами мы считаем это находящимся в нашей власти. С той и с другой стороны легко может выйти одинаковая ошибка: чувство обязанности связано с тем, что мы, наравне с другими, имеем ту же самую *веру* в объем нашей власти: именно с тем что мы обещаем, что мы *можем* взять на себя такую-то обязанность («свобода воли»). Мои права, т. е. та часть моей власти, которую не только дали мне другие, но и в которой они хотят иметь меня.

Каким образом эти другие доходят до этого? Во-первых, их доводят до этого соображение, страх и осторожность; это потому, что они ожидают от нас подобного же к ним отношения (охрана своих прав), или потому, что считают борьбу с нами опасной или нецелесообразной, или, наконец, потому, что во всяком уменьшении наших сил они усматривают ущерб для себя, так как тогда мы оказались бы негодными для союза с ними в борьбе против третьей, враждебной, силы.

Во-вторых, здесь могут играть роль дарение и отказ: в этом случае другие имеют достаточно или слишком достаточно власти, чтобы быть в состоянии дать нам часть ее и за отданную часть поручиться тому, кому они подарили ее; при этом необходимо условие существования небольшого чувства власти у того, кто получает дар. Так возникают права, т. е. признанные и обеспеченные степени власти. При переменах в отношениях власти права исчезают и обра-

зуются новые: это показывают международные права в их постоянном исчезновении и возникновении. Если наша власть существенно уменьшается, то изменяется чувство тех, которые прежде обеспечивали нам нашу власть. Они рассчитывают, могут ли они снова привести нас в наше прежнее положение; если они чувствуют себя не в состоянии сделать это, то отрицают тогда наши «права». Равным образом, если наша власть значительно усиливается, то изменяется чувство тех, которые признавали ее до сих пор, и в признании которых мы более не нуждаемся. Они будут пытаться, правда, низвести ее в прежнюю степень, будут вмешиваться и ссылаться на свою «обязанность», – но это только бесполезное словоизлияние. Где господствует право, там поддерживаются состояние и степень власти, там борются против усиления и ослабления. Право других – уступка нашего чувства власти чувству власти этих других. Если наша власть пошатнулась и падает, наши права исчезают, и наоборот, если мы становимся гораздо могущественнее, то исчезают права других на нас, так как мы до сих пор уступали их. «Справедливый» человек постоянно нуждается в тонком такте взвешивать размеры власти и размеры права, так как они, при непостоянстве всего человеческого, устанавливаются в равновесии только на очень короткое время: большею частью одна или другая чаша весов перетягивает. Следовательно, быть справедливым трудно, для этого требуется много навыка, опытности, доброй воли, и еще больше хорошего *духа*.

62

Стремление к отличию. Стремление отличиться имеет постоянно ввиду ближнего и хочет знать, что у него от этого на душе; но то *чувство*, которого требует для своего удовлетворения эта страсть, далеко от добродушия, сострадания, доброты. Хотят знать или угадать, как человек *страдает* внешне или внутренне от нас, как теряет он силу над собой и отдается впечатлению, которое производит на него наша рука или только наш взгляд; и даже если стремящийся производить (и хочет производить) приятное, возвышающее, радующее впечатление, – он все-таки наслаждается своим успехом не потому, что при этом радовал, возвышал своего ближнего, но потому, что он *производил впечатление* на чужую душу, менял ее форму и распоряжался ею по своему желанию. Стремление к отличию есть стремление к победе над ближним, будь она только очень посредственная, или только чувствуемая, или только воображаемая. Длинен ряд ступеней этой втайне желаемой победы, и подробное описание их составило бы целую историю культуры от первого карикатурного варварства вплоть до карикатуры утонченного и болезненного идеализма. Стремление к отличию приносит с собою для *ближнего* (назову только несколько ступеней этой длинной лестницы) страдания, потом удары, потом страх, потом болезненное изумление, потом зависть, потом удивление, потом нравственный подъем, потом радость, потом веселость, потом смех, потом насмешку, потом удары, потом пытку… Здесь в конце лестницы стоит аскет.

В действительности счастья, мыслимого как самое живое чувство власти, может быть нигде на земле не было больше, как в душах суеверных аскетов. Об этом свидетельствуют брамины в истории царя Вишвамитры, который из тысячелетних покаяний почерпнул такую силу, что предпринял создать новое небо. Я думаю, что во всем этом роде душевных переживаний мы теперь – неопытные новички, могущие только ощупью подойти к загадке; четыре тысячи лет тому назад об этих утонченных самонаслаждениях знали больше.

63

О познании страдающего. Состояние больных людей, которых долго и страшно мучили их идеи, и ум которых несмотря на это не омрачен, – не лишено цены для познания, не говоря уже об интеллектуальных благодеяниях, каждое из которых приносит с собой глубокое уединение, минутную и дозволенную свободу от всех обязанностей и привычек. Тяжело страдаю-

щий смотрит на не касающийся его внешний мир со страшной холодностью: все те маленькие обманчивые чары, которыми обыкновенно окутаны бывают вещи, когда смотрит на них глаз здорового человека, исчезают перед больным. Если до сих пор он жил в каком-нибудь опасном бреду – боль отрезвит его, выведет его из этого состояния; она может быть для него единственным спасительным средством. Страшное напряжение интеллекта, желающего оказать сопротивление боли, производит то, что человек видит все в новом свете; и то невыразимое очарование и возбуждение, которые испытываешь при взгляде на вещи в новом освещении, часто обладают такой значительной силой, что оказывают сопротивление всем соблазнам к самоубийству: страдающий начинает чувствовать сильное желание жизни. С презрением вспоминает он об уютном теплом мире, в котором живет здоровый человек, мало думающий, мало дающий себе здравый отчет о том, что совершается вокруг него; с презрением вспоминает он о самых благородных, самых любимых им иллюзиях, в которые прежде он играл сам с собою. Он наслаждается теперь тем, что вызывает это презрение как бы из глубины ада и доставляет душе самое горькое страдание: это служит ему противовесом физической боли, – он чувствует, что ему теперь необходим именно этот противовес!

В этом ужасающем ясновидении он взывает: «будь же своим собственным обвинителем и палачом! прими же свое страдание, как кару, наложенную на тебя тобой самим! размышляй о самом себе как судья и, более того, поступай с собой с тираническим произволом! Стань выше своей жизни и выше своего страдания! смотри вниз на почву и на беспочвенность!» Наша гордость возмущается, как никогда, против такого тирана, как боль, и против всех тех внушений, какие она делает нам, стараясь заставить нас высказаться против жизни. Против этого-то тирана наша гордость и старается защитить жизнь. В этом состоянии с ожесточением защищаются против всякого пессимизма, боясь, как бы он не явился *следствием* нашего состояния и, одолев нас, не подавил бы нас окончательно. Никогда побуждение быть справедливым в суждениях не было больше, чем теперь, так как теперь оно дает нам триумф над нами и над самым опасным из всех состояний, могущим извинить всякую несправедливость суждения. Но мы не хотим оправдываться, именно теперь мы хотим показать, что мы можем быть «без вины». Мы находимся в настоящем припадке гордости. И вот является первый рассвет выздоровления, – и почти первым следствием этого является то, что мы защищаемся против господства нашей гордости: мы называем себя глупыми и суетными, как будто бы мы пережили что-нибудь такое, что было необыкновенным, странным! Вместо благодарности мы унижаем всемогущую гордость, которая помогла нам перенести боль, и настойчиво ищем противоядия гордости: мы хотим ослабить себя, обезличиться после того, как боль дала нам силу и *личность.* «Долой, долой эту гордость! – кричим мы, – она была болезнью, она была припадком!» Мы опять смотрим на человека и природу более жаждущими взорами: грустно улыбаясь, мы припоминаем, что мы знаем теперь о них нечто новое и другое, чем прежде; что покрывало спало – но нам так приятно, что мы снова видим тусклый свет жизни, что мы выходим из страшного, трезвого ясновидения, в котором мы во время страданий смотрели на вещи и дальше сквозь вещи. Мы не сердимся на то, что снова начинают играть чары здоровья, – мы смотрим на это, как бы испытывая какое-то превращение; мы – выздоравливающие, но все еще утомленные. В этом состоянии нельзя слушать музыки без слез.

64

Так называемое «я». Язык и предрассудки, на которых построен язык, часто мешают нам выяснить сущность внутренних процессов и желаний. Например, вследствие того, что существуют только слова для превосходной степени этих процессов и желаний – а мы привыкли не всматриваться в состояния и факты, если для них недостает слов, потому что там трудно точно мыслить, – поэтому обыкновенно заключают, что там, где прекращается область слова,

прекращается также и область бытия. Гнев, ненависть, любовь, сострадание, страсть, радость, горе, – все это имена для обозначения *крайних* состояний: средние и низкие степени их ускользают от нас, а меж тем они-то и ткут тонкую паутину, составляющую и наш характер, и нашу судьбу. Те крайние взрывы очень часто рвут паутину и составляют исключения, – а между тем они могут ввести в заблуждение не только *наблюдателя,* они вводят в заблуждение и самого *действующего* человека. Все мы представляем собою, в сущности, не то, чем мы кажемся в наших крайних состояниях, которые одни только и можно знать и о которых (одних) только можно говорить и, следовательно, порицать нас или хвалить. Мы несправедливо судим о себе по этим грубым, легко осязаемым порывам, которые одни только известны нам; мы делаем заключения на основании такого материала, в котором больше исключений, чем правил; мы ошибаемся только при чтении этих, по-видимому, слишком ясных букв нашего «я». Но *наше мнение о себе*, составленное таким ложным путем, так называемое наше «я», влияет на наш характер и на нашу судьбу.

65

Неизвестный мир «субъекта». С чем человеку труднее всего согласиться – это со своим незнанием о самом себе; и это относится ко всей истории от древнейших времен до настоящих! Не только в вопросах о добре и зле, но даже и в вопросах гораздо более существенных! Жива еще старинная иллюзия, что *можно знать*, и притом вполне точно, *о сущности и свойстве каждого поступка человека.* Не только само лицо, совершающее какое-либо действие и, след., обдумывающее его, – нет! даже всякий другой не сомневается, что он будто бы понимает самую сущность в процессе действия каждого другого. «Я знаю, чего я хочу; я знаю, что я сделал; я свободен и отвечаю за это; я могу назвать все нравственные силы, все внутренние движения, сопровождающие действие; вы можете поступать, как вы хотите, я понимаю и себя и всех вас!» Так думал прежде каждый. Сократ и Платон, великие скептики и достойные удивления реформаторы, верили, однако, в это проклятое заблуждение, в эту глубочайшую ошибку: что «за правильным познанием *должно следовать* правильное действие». В этом принципе они оказались наследниками всеобщего заблуждения, всеобщего высокомерия: что, будто бы, можно знать сущность действия. «Было бы *страшно*, если бы человек, понимая, в чем состоит правильный образ действия, не поступал бы так», – вот единственный довод, которым те великие мыслители старались оправдать свой принцип: противоположное им казалось немыслимым, глупым. А между тем это противоположное является голой действительностью, подтверждаемой испокон века ежедневно и ежечасно! Не заключается ли «страшная» правда в том, что то, что знание о таком-то поступке никогда не бывает достаточным для того, чтобы заставить совершить его; что до сих пор не построен еще мост, связывающий воедино знание о поступке с самим поступком? Поступки никогда не бывают тем, чем кажутся они нам! Нам стоило такого громадного труда понять, что вещи не есть то, чем кажутся они нам, – с внутренним миром дело обстоит точно так же! Моральные действия в действительности «нечто другое», чем они кажутся, и все действия человека, в сущности, нам неизвестны. Противоположное мнение было и теперь продолжает быть всеобщей верой: против нас действует древнейший реализм; человечество думало до сих пор: «поступок человека есть то, чем он кажется нам». При пересмотре этого места я вспомнил очень выразительные слова Шопенгауэра, которые я хочу привести в доказательство того, что и он, без всяких колебаний, стоял за этот моральный реализм, и таким остался навсегда: «действительно, каждый из нас, – говорит он, – компетентный и вполне моральный судья, точно знающий добро и зло; святой, если он любит добро и презирает зло». Все это относится к тому, кто должен оценивать не свои собственные, а чужие поступки, и одобрять их или не одобрять, а тяжесть исполнения несут чужие плечи.

66

В клетке. Мой глаз, все равно сильный он или слабый, видит только небольшое пространство; в этом небольшом пространстве я двигаюсь и существую, и этот горизонт есть предназначенный для меня мир, откуда я не могу выйти. Около каждого существа лежит такой концентрический круг, имеющий один центр и предназначенный для этого центра. И ухо, и осязание также замыкают нас в небольшое пространство. По этим горизонтам, в которые, как в тюрьмы, запирают нас наши чувства, мы *мерим* весь мир, мы знаем одно близким, а другое далеким; это большим, а то малым; это жестким, а то мягким: эту мерку мы называем ощущением, и это все, все, в сущности, ошибки! По количеству опыта и возбуждений, которые возможны для нас в известный промежуток времени, считают жизнь длинной или короткой, бедной или богатой, полной или пустой. И по средней человеческой жизни мы мерим жизнь всех других творений, – это все, все, в сущности, ошибки! Если бы мы имели глаза, видящие пространство в сто раз большее, нам казался бы человек несравненно большим; можно представить себе даже такую силу органов, с помощью которой человек ощущался бы неизмеримым. С другой стороны, органы могут быть такие, что вся Солнечная система могла бы представляться тесной, маленькой ячейкой, а существу противоположного порядка одна клетка человеческого тела могла бы казаться громадной, как Солнечная система, движущаяся, построенная по строгому закону. Свойства наших чувств обманывают нас в ощущениях, которые, в свою очередь, служат руководителями наших суждений и «познаний», – следовательно, *в действительный мир* нет хода! Мы сидим в своей клетке, мы – пауки, и все, чего мы ни ловим, мы не можем поймать, разве только это само собою залетит *в нашу* клетку.

67

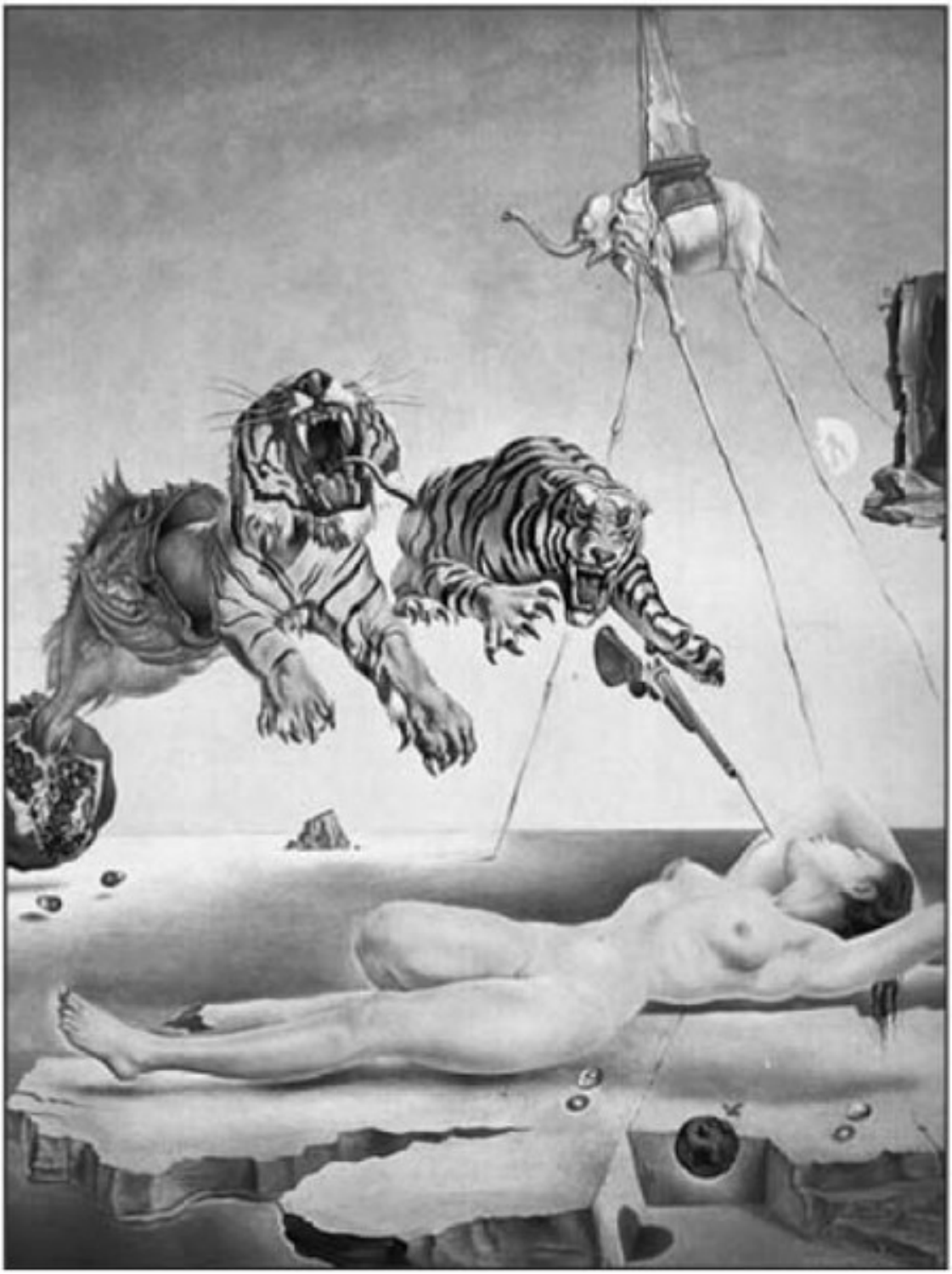
Что такое ближний? Что знаем мы о нашем ближнем, о том ближнем, который соприкасается с нами, который влияет на нас? О нем мы не знаем ничего, кроме тех перемен, которые происходят в нас, и причиной которых он бывает, – наше знание о нем равняется пустому, имеющему форму, пространству. Мы приписываем ему *ощущения*, которые вызывают в нас его поступки, и даем ему такую ложную, извращенную позитивность. Сообразно с нашим знанием о самих себе, мы делаем его спутником нашей собственной системы: если он светит или затемняется и мы – последняя причина того и другого, то мы думаем все-таки наоборот! Мы живем в мире фантазии! В мире извращенном, вывернутом наизнанку, пустом, но полном ясных сновидений!

68

Жизнь и фантазия. Как бы далеко ни простирал кто-нибудь своего самосознания, ничто не может быть так неполно, как картина всех *влечений,* составляющих его существо. Едва ли он будет в состоянии назвать по имени наиболее явные из них: их число и сила, их прилив и отлив, их борьба между собою, и прежде всего законы их пропитания, – останутся ему почти неизвестными.

Их питание становится, следовательно, делом случая: наша жизнь ежедневно бросает добычу то тому, то другому влечению, которую оно с жадностью пожирает. Но весь ход нашей жизни стоит вне всякой разумной связи с потребностями питания всего комплекса влечений: постоянно одно из них голодает и страдает, а другое пресыщается. В каждый момент нашей жизни растут те или другие полипы нашего существа, смотря по тому, какие из них получают пищу в данное время. Наши опыты являются, в этом смысле, средствами питания, но разбросанными слепой рукой, не обращающей внимания на то, кто голодает в эту минуту и кто пре-

сыщен. И вследствие этого случайного питания частей, выросший полип представляет собою нечто случайное, как и следовало ожидать от его подверженного случайностям развития. Точнее говоря, предположим, что влечение дошло до такой степени развития, что требует удовлетворения, – оно начинает смотреть на каждое событие дня сквозь призму своего состояния: нельзя ли как-нибудь воспользоваться этим событием для своей цели. Идет ли человек или лежит, читает или говорит, сердится или радуется, – влечение в своей жажде одинаково хватается за каждое состояние, в котором находится человек. Если оно не найдет для себя подходящей пищи, оно идет и снова жаждет; пройдет некоторое время, и оно начинает вянуть; пройдет еще несколько дней или месяцев неудовлетворения, и оно начинает сохнуть, как растение без дождя. Может быть, эта жестокость случая еще резче бросалась бы в глаза, если бы все влечения требовали такого удовлетворения, как голод, который не удовлетворяется пищей грез, но большинство влечений, так называемые моральные влечения, делают именно это: наши сны имеют именно такое значение – *компенсировать,* до известной степени влечениям, случайному недостатку пищи во время дня. Почему вчерашний сон был полон ласки и слез; позавчерашний – шутлив и резв, а совсем недавний – странен и грустен? Почему в одном сновидении я наслаждаюсь неописуемыми красотами музыки, а в другом я летаю на далекие горные вершины с наслаждением орла? Эти фантазии, которые дают простор и пищу и позволяют, так сказать, разряжаться низшим влечениям нежности, или шутливости, или причудливости, или нашим стремлениям к музыке и горам, – не что иное, как интерпретации, производимые нашими нервными раздражениями во время сна, очень свободные, очень произвольные интерпретации к движениям крови, звукам башенного колокола, тяжести одеяла и другим физиологическим и внешним явлениям. Этот текст, в общем, остается постоянно одним и тем же для каждой ночи, но интерпретируется так различно, что творящий ум *представляет* себе различные *причины* вместо одних и тех же нервных раздражений. Это объясняется тем, что суфлер этого ума сегодня не тот, что вчера, – другое влечение хотело удовлетвориться, другое влечение искало возможности разрядиться, действовать; его волны поднялись сегодня наверх, а вчера наверху были волны другого влечения.



Действительная жизнь не имеет такой свободы интерпретации, как сны, в ней меньше вымыслов, она не так необузданна, – но надобно ли говорить, что наши влечения в бодрствующем состоянии есть тоже интерпретация нервных возбуждений? что между бодрствованием и сном нет существенной разницы? что даже при сравнении очень различных культурных степеней свобода интерпретации в бодрствующем состоянии на одной ступени ни в чем не уступает свободе интерпретации в сонном состоянии на другой? что наши моральные суждения и критерии суть только образы и фантазии о неизвестном нам физиологическом процессе, способ языка обозначать известные нервные раздражения? что все наше так называемое сознание

есть более или менее фантастический комментарий к непонятому, а может быть, и непостигаемому, но чувствуемому тексту?

Приведем пример. Предположим, мы, проходя по улице, замечаем, что кто-нибудь смеется над нами; в зависимости от того, какое влечение преобладает у нас, этот случай будет иметь для нас то или другое значение, и смотря по тому, что я за человек, случай имеет тот или другой характер. Один принимает это, как дождевую каплю; другой старается стряхнуть это с себя, как отвратительное насекомое; третий постарается сделать из этого ссору; четвертый начинает осматривать свое платье, ища, нет ли на нем чего-нибудь подавшего повод к насмешке; пятый начинает раздумывать, взяв это как повод, о смешном и т. д.; и в каждом случае влечение нашло свое удовлетворение, каково бы оно ни было – будь это влечение к гневу, к спору, к размышлению. Влечение хватает факт как добычу. Почему? Потому что оно, терпя голод и жажду, стоит настороже. Недавно утром, около 11 ч., на улице вдруг упал передо мной человек, как бы пораженный молнией; женщины, шедшие поблизости, громко вскрикнули. Я помог подняться ему на ноги и ждал, когда возвратится к нему речь; меж тем у меня не дрогнул ни один мускул в лице и не шевельнулось даже чувство сострадания: я сделал только то, что можно и необходимо было сделать, и равнодушно пошел дальше. Предположим, что мне накануне еще было сообщено, что завтра, около 11 ч. утра некто упадет таким образом около меня, – сколько я перенес бы, в ожидании этого, всевозможных страданий, я не спал бы ночь, и в решительную минуту я не только не помог бы несчастному, но и со мной самим случилось бы что-нибудь подобное. А между тем всевозможные влечения имели бы время представить себе и прокомментировать то, что я переживаю. Что же такое то, что мы переживаем? Скорее то, что мы влагаем в него, чем то, что в нем лежит! Пожалуй, не вернее ли будет сказать, что в нем ничего не лежит? Переживать – не значит ли фантазировать?

69

К успокоению скептика. Я совсем не знаю, что *мне делать?* Я совсем не знаю, *что я должен делать?* Ты прав; но не сомневайся в том, что тебя делают, и притом в каждую минуту! Человечество постоянно чередовало *activum* и *passivum:* это его вечная грамматическая ошибка.

70

«Причина и следствие». В этом зеркале – а наш ум тоже зеркало – происходит нечто, обнаруживающее правильность – известная вещь всякий раз следует за известной вещью; мы, глупцы, называем это причиной и следствием! Как будто бы мы могли понять и поняли там что-нибудь! Мы даже не видели ничего, кроме *изображений* «причин» и «следствий». А такой характер появления перед нами «причин» и «следствий» делает невозможным понимание более существенной связи, чем связь простой последовательности.

71

Цели в природе. Кто беспристрастно будет исследовать историю глаза у низших тварей и покажет все постепенное развитие глаза, тот должен будет прийти к великому выводу: происхождение глаза не обусловливалось целью «видеть», и эта способность явилась только тогда, когда случай сформировал аппарат. Один такой пример – и «цели», как чешуя, спадают с наших глаз.

72

Разум. Каким образом разум вошел в мир? Само собою разумеется, неразумным образом, случайно.

73

Что такое – хотеть? Мы смеемся над тем, кто выходит из своей спальни в ту минуту, когда солнце выходит из своей, и говорит: *«Я хочу,* чтобы солнце взошло». Мы смеемся и над теми, кто, не будучи в состоянии остановить вертящееся колесо, говорит: *«Я хочу,* чтобы оно вертелось». Мы смеемся так же и над тем, кто, пав в поединке, говорит: «я лежу здесь, но *я хочу* здесь лежать». Но, кроме шутки, другой ли смысл бывает в наших словах всегда, когда мы говорим: *«Я хочу»?*

14

О «царстве свободы». Гораздо, гораздо больше можем мы передумать, чем сделать или пережить, – это значит, что наше мышление поверхностно и довольствуется поверхностным; оно даже не замечает этого. Если бы наш интеллект был развит строго по мере нашей силы, то мы могли бы понимать только то, что могли делать, – если только вообще возможно понимать. Жаждущий не имеет воды, но его мысли рисуют перед его глазами постоянно воду, как будто бы не было ничего легче, как достать ее; поверхностный, легко удовлетворяющийся интеллект не может понять настоящую, испытывающую нужду, потребность и чувствует при этом свое превосходство: он гордится тем, что он больше может, что он быстрее бежит, что в одно мгновение он бывает у цели, – и эта область мыслей в сравнении с областью дела, воли, жизни кажется *областью свободы*, между тем как это только область поверхностей и умеренности.

75

Забывать. Недоказано, что есть забвение; что мы знаем, так это единственно то, что «воспоминание» не в нашей власти. В этот пробел нашей власти мы поставили покамест слово «забывать», как бы для того, чтобы был больший инвентарь наших владений. Что же, в таком случае, стоит в нашей власти? Если то слово стоит в пробеле нашей власти, то не стоят ли другие слова в пробеле нашего *знания о нашей власти?*

76

Сон и ответственность. Во всем вы хотите быть ответственным! Только не за ваши сны! Какая жалкая слабость, какой недостаток мужества – быть последовательным! Нет у вас *большей* собственности, чем ваши сны! Нет другого более *принадлежащего* вам дела! Материал, форма, актер, зритель – все это в этих комедиях представляете вы сами! И здесь боитесь и стыдитесь вы самих себя, и уже Эдип, мудрый Эдип, умел почерпнуть себе утешение из мысли, что мы не несем никакой вины за то, что мы грезим! Из этого я заключаю, что большое число людей помнит, *вероятно, отвратительные* грезы. Надобно ли прибавлять, что мудрый Эдип прав, что мы действительно не ответственны за наши сновидения, но точно так же не ответственны и за наше бодрствующее состояние; что учение о свободе воли имеет своим отцом и матерью гордость и чувство силы человека? Я говорю об этом, может быть, слишком часто, но что делать, если это – правда.

77

Мнимая борьба мотивов. Говорят о «борьбе мотивов», но обозначают этим термином борьбу, которая *не* есть борьба мотивов. Именно в нашем размышляющем сознании выступают перед поступком, по порядку, *последствия* различных поступков, которые все мы можем сделать, – и мы сравниваем эти последствия. Мы выскажемся за такой поступок, следствия которого, по нашим расчетам, будут наиболее благоприятны для нас. Прежде чем наш расчет придет к такому выводу, мы часто сильно страдаем вследствие трудности угадать последствия, видеть их во всей их силе и притом не опуская ни одного; кроме того, расчет должен считаться и со случайностями. Но самое трудное, это то, что все последствия, которые так трудно определить в отдельности, мы должны сравнить и взвесить, а для проведения этой казуистики у нас часто недостает ни весов, ни гирь, так как *качество* всех возможных последствий бывает очень различно. Но предположим, что мы справились со всем этим, – тогда мы имеем в *картине следствий* такого-то поступка *мотив* совершить именно этот поступок. *Мотив!* Но в ту минуту, когда мы начинаем действовать, мы часто руководствуемся мотивами иными, чем тот, о котором мы говорили сейчас и который, в сущности, есть «картина следствий». Здесь начинает оказывать свое влияние привычка, оглядка на лиц, которых мы боимся, или уважаем, или любим, или удобства, или возбуждение фантазии; здесь оказывает свое влияние и наш организм, который прежде не принимался в расчет; здесь оказывает свое влияние и прихоть; здесь оказывают свое влияние и аффекты, которые имеют, в полном смысле слова, случайный характер. Короче говоря, здесь оказывают свое влияние мотивы, которых мы или вовсе не знаем, или знаем очень плохо и которых, следовательно, мы никогда *заранее* не принимаем в расчет при оценке возможных последствий. *Вероятно*, что и между ними существует борьба; *вероятно*, что один мотив старается побороть другой; *вероятно,* чашки весов, взвешивающих эти мотивы, поднимаются и опускаются: это была бы настоящая «борьба мотивов», но она для нас совершенно невидима и несознаваема. Я рассчитал следствия и выгоды и выставил в боевую линию мотивов этот самый существенный мотив, но я не вижу этой боевой линии и не я ставлю ее; от меня скрыта и борьба и победа. Я, правда, знаю, что в конце концов мне надобно делать, но я не знаю, какой мотив остался победителем Мы *привыкли не* принимать в расчет эти бессознательные процессы и подготавливать поступок лишь постольку, поскольку эта подготовка осознаваема. Таким образом, мы смешиваем борьбу мотивов со сравнением возможных последствий различных поступков, – смешение очень важное и вместе с тем очень вредное для развития морали!

78

Цели? Намерения? Мы привыкли верить в два царства: в царство целей и намерений и в царство случайностей; в последнем все происходит бессмысленно: идет, стоит, падает – и никто не может сказать: зачем? для чего? Мы боимся этого могучего царства великой космической бессмыслицы, которая вторгается в другой наш мир – мир целей и намерений, падает туда, точно черепица с крыши, и поражает насмерть какое-нибудь наше хорошее намерение. Эта вера в два царства – не более и не менее как романтизм и басня, ведущие свое начало с незапамятных времен: мы, умные карлики, с нашей волей, с нашими целями подавлены, сбиты в кучу глупыми-преглупыми великанами – случайностями. Но это соседство дает нам и поэзию, так как те чудовища часто являются к нам в ту минуту, когда наша жизнь в *паутине* наших целей становится слишком осмотрительна и робка, являются и оживляют нас, *разрывая* своими всесокрушающими руками нашу паутину, но не потому, что они, эти безрассудные, *хотели* помочь нам.

Они даже и не замечают нас, а просто своими грубыми руками проводят по нашей паутине, точно по воздуху. Греки называли это царство бессознательной вечной неразумности – судьбой, и, как горизонтом, окружали ею своих богов; и за пределами этой линии их боги не могли ни действовать, ни видеть.

В настоящее время говорят: пора нам научиться, что в нашем царстве целей и разума царствуют тоже великаны! И наши цели и наш разум не карлики, а великаны! И наша паутина так же часто и сильно разрывается нами самими, как и черепицами с крыши! Да и не все то бывает целью, что называют именем цели, и еще реже бывает волей то, что называется волей! А если вы скажете: «так неужели есть только одно царство – царство случайностей и неразумности?», – то можно прибавить: да, есть только одно царство и, может быть, нет ни воли, ни целей, а мы создали их себе. Те железные руки необходимости, которые трясут, прежде чем выбросить кости, зерновой кубок случая, играют в свою игру в бесконечное время и иногда они могут бросить так, что становятся несколько похожим на целесообразность и разумность. *Может быть*, наши волевые акты, наши цели не что иное, как такое бросание игральных костей, и только благодаря нашей ограниченности, нашей гордости мы не понимаем в своей ограниченности, что мы сами трясем железными руками зерновой кубок, что мы сами, при всех своих даже наиболее тонко рассчитанных намерениях, только играем в игру необходимости.

Предрассудки альтруистической и сострадательной морали

79

Мода в морали. Как меняются моральные суждения! Величайшие светила античной нравственности, например Эпиктет, ничего не знали о так прославляемой теперь заботе о других, жизни для других; мы, с точки зрения своей теперешней моральной моды, назвали бы их абсолютно безнравственными, так как они всеми силами боролись за свое *ego* и против сочувствия другим, – их страданиям и их нравственным порокам. Может быть, они ответили бы нам: «Если вы сами обладаете чем-нибудь мучительным и отвратительным, то считайте – по крайней мере! – других лучшими, чем вы сами! И вы поступите хорошо!»

80

Отзвуки христианства в морали. «Только сострадательный может быть хорошим человеком, следовательно, надобно быть постоянно сострадательным», – вот что говорит теперь мораль! Откуда ведет свое начало это учение морали? Только тот человек может быть назван и предстать моральным, чьи поступки лишены личного интереса и направлены на общую пользу, – этот переворот в умах был произведен в Европе христианством. Позднейшие французские мыслители сделали попытку заменить догматы культом любви к человеку, и Огюст Конт, в конце концов, выставил свою, несуществующую в христианском учении, моральную формулу: «Жить для другого». В Германии – Шопенгауэр, в Англии – Джон Стюарт Милль содействовали развитию учения о симпатии и сострадании или о пользе другим, как о принципе наших поступков; но они сами были только эхом – такие теории, обладая могучей растительной силой, начали вырастать всюду и в грубых, и в изящных формах, приблизительно со времени Французской революции; и все социалистические системы непроизвольно встали на общую почву этих учений. Может быть, в настоящее время нет еще ни одного предрассудка, которому бы больше верили, кроме такого, что *будто знают*, что такое мораль. Кажется, теперь каждому *приятно* слышать, что общество намерено *приспособить отдельное лицо к потребностям общества* и что *счастье*, и вместе с тем *жертва* отдельного человека, заключается в том, чтобы чувствовать себя полезным членом и орудием целого. Только теперь пока

еще очень колеблются, что надобно понимать под этим «целым» – существующее ли или какое-нибудь другое идеальное государство, или нацию, или братство народов, или отдельные маленькие экономические общины. Об этом много думают, сомневаются, спорят с большим возбуждением и страстностью; но с удивительным единодушием требуют, чтобы *ego* отрекалось от самого себя до тех пор, пока в форме приспособления к целому оно опять получит свой полный и прочный круг прав и обязанностей; пока не явится нечто совершенно новое и другое. Хотят добиться ни больше ни меньше как того, чтобы индивидуум изменился в самом корне своем, ослабел или даже уничтожился; не переставая, всюду и все толкуют о том, что всякое зло, всякое враждебное чувство: распущенность, роскошь, мотовство, – все это плоды современного индивидуализма, и свои жалобы на этот порядок сопровождают надеждами и мечтами о более простом, более умеренном, более равномерно устроенном образе жизни. Если только возможны еще *великие тела и их члены.* Каким *хорошим* чувствуется и представляется все то, что соответствует этому влечению, образующему тело и его члены; это – *основное моральное* течение нашего времени: сочувствие и социальное чувство переходят одно в другое (Кант стоял еще вне этого движения: он определенно учит, что мы должны оставаться нечувствительными к чужим страданиям, – но что Шопенгауэр, слишком раздраженно, называет *кантовской нелепицей).*

81

Не думать более о себе. Вполне основательно рассуждают: зачем бросаться за человеком, упавшим в воду, если к нему не чувствуешь расположения? Из сострадания: тогда думают только о другом, – говорит бессмыслица. Почему испытывают боль и неприятное чувство, когда видят, что кто-нибудь кашляет кровью, хотя и были к этому больному расположены враждебно? Из сострадания: при этом не думают о себе, – говорит та же бессмыслица. И правда, в сострадании – я подразумеваю здесь то, что ошибочно называется обыкновенно состраданием, – мы уже не думаем о себе сознательно, но *очень бессознательно*, подобно тому как, оступаясь, мы – бессознательно – стараемся удержать равновесие, действуя при этом, по-видимому, всем нашим умом. Несчастие другого оскорбляет нас, оно изобличает нас в нашем бессилии; может быть, в нашей трусости. Или несчастие другого умаляет нашу честь в глазах других или даже нас самих. Или в несчастиях и страданиях другого мы видим указание опасности и для себя, и как памятник человеческой непрочности и слабости, они вообще болезненно действуют на нас. Мы стараемся удалить от себя оскорбление, стараемся избавиться от болезненного состояния, заглушая их поступком сострадания, – в нем мы ищем и защиту себе и месть за себя. В глубине души мы думаем при этом так же сильно и о себе: доказательством этого служит то, что всегда, когда *можно,* мы стараемся избавить себя от встречи со страдающим, находящимся в нужде, в горе. Но мы не сделаем этого, если мы чувствуем себя более сильными, способными помочь, если рассчитываем на успех, хотим сильнее ощутить свое счастье или надеемся разогнать этим свою скуку. Ошибочно называть состраданием то страдание, которое испытываем мы при виде чужого страдания и которое должно быть очень различно: оно всегда бывает таким, какого не испытывает страдающий пред нами: оно испытывается исключительно нами, меж тем как он испытывает свое, особое, страдание. Исполняя дело сострадания, мы избавляемся только от того страдания, *которое испытывается исключительно нами.* Однако не один только этот мотив руководит нами: мы стараемся избавиться от страдания, и в то же время мы ищем *удовольствия* – того удовольствия, которое ощущается нами при виде противоположности нашего положения, при представлении о том, что мы можем помочь, если захотим; при мысли, что нас будут хвалить, будут признательны нам, если мы поможем, и, если наша помощь будет успешна, она доставит радость и нам самим, как доставляет радость вообще всякий успех. Все это – и еще много других более тонких ощущений, – вместе взятые,

и составляют то, что именуется «состраданием», как неуклюже охватывает язык одним словом такое многоименное существо! Мысль, что сострадание однородно со страданием при виде которого оно возникает, противоречит опыту, и кто утверждает так, у того надобно признать большой недостаток опыта в этой области морали. Я сомневаюсь в том, что говорит Шопенгауэр о сострадании – что сострадание – именно то сострадание, которое он так мало наблюдал и так плохо описал – есть источник всех прошлых и будущих моральных деяний, и это только потому, что он приписал ему какие-то способности. Чем отличаются люди, не испытывающие сострадания, от людей сострадательных? Прежде всего, скажу в общих чертах, они не подвержены возбуждающей фантазии страха, этой тонкой способности чуять опасность; их тщеславие не так легко оскорбляется, если случится что-нибудь такое, чему они могли бы воспрепятствовать; их гордость не позволяет им вмешиваться без нужды в чужие дела: они держатся такого убеждения, что каждый должен помогать самому себе и действовать своими собственными силами. Кроме того, они бывают более привычными к перенесению боли, и при виде страдания другого в них не шевелится мысль о несправедливости, так как они сами страдали. Наконец, для них тяжко и болезненно состояние мягкосердечия, как человеку сострадательному тяжко состояние стоического равнодушия. Это тоже эгоисты, но эгоисты другого рода, чем сострадательные. Называть же их *злыми,* а сострадательных *добрыми* — не что иное, как мода, возникающая и исчезающая с течением времени: было время – и притом время очень продолжительное, – когда была в ходу противоположная мода!

82

Почему надобно воздерживаться от сострадания. Сострадание, если оно действительно порождает страдание (пусть эта точка зрения будет у нас единственной), есть слабость, оно увеличивает страдание в мире; и хотя иногда, вследствие сострадания, облегчается или уничтожается страдание, нельзя, однако, этими случайными и, в общем, незначительными следствиями пользоваться для оправдания сострадания, которое все-таки остается приносящим вред. Само собой, в нем также мало хорошего, как и в какой-нибудь страсти; только там, где его требуют и хвалят, – а это бывает там, где не понимают заключающегося в нем вредного элемента, но открывают *источник удовольствия*, – ему отдаются с чистой совестью и не боятся его обнаружить. Но там, где понимают, что оно способно приносить вред, оно считается слабостью, или (как это было у греков) болезненным периодическим аффектом, у которого можно отнять его опасный характер, делая, время от времени, искусственные раздражения. Попробуйте, для опыта, поискать намеренно поводов к состраданию в практической жизни и перенесите все то горе, которое ведет оно за собой своей свитой, – вы непременно сделаетесь больны и меланхоличны. Но кто хочет быть *врачом* человечества в каком бы то ни было смысле, тот должен заботливо остерегаться таких ощущений: в решительную минуту они вселят в его душу нерешительность и задержат несущую помощь руку.

83

Сожаление. С моральной дрожью представляют себе дикари состояние человека, сделавшегося предметом сожаления: оказать кому-нибудь сострадание для них значило то же, что презирать; они не хотели видеть, как страдает презираемое существо, в этом не было для них никакого удовольствия. Наоборот, видеть, как страдает враг, которого считают таким же непреклонно гордым и который среди мучений не поступается своей гордостью, вообще видеть такое существо, которое не хочет допустить сострадания к себе, т. е. самого позорного и самого глубокого унижения, это – высшее наслаждение, это – наслаждение наслаждений. Душа дикаря возвышается при этом, такой человек служит для него предметом *удивления;* убивая такого храбреца, попавшегося в его руки, он оказывает честь этому *непреклонному* человеку.

Если бы с уст страдающего сорвалась жалоба, если бы лицо его потеряло выражение холодной насмешки над болью, он сделался бы предметом презрения, и ему оставили бы жизнь, как собаке. Тогда он не возбуждал бы гордости в видящем его и вместо удивления он вызывал бы сострадание.

84

Счастье в сострадании. Если, подобно индусам, ставить целью всей интеллектуальной деятельности познание человеческого несчастия и на протяжении многих поколений духа оставаться верным этому страшному намерению, то, в конце концов, в глазах таких людей наследственного пессимизма *сострадание* получает новую цену как сила, *поддерживающая жизнь,* помогающая выносить бытие. Сострадание становится средством против самоубийства как ощущение, содержащее удовольствие и позволяющее вкушать, маленькими дозами, превосходство. Оно отвлекает нас от самих себя, делает сердце полным, прогоняет страх, вызывает к словам, жалобам, действиям, – это, в некотором роде, счастье, то счастье, которое возможно при таком страшном познании, гонящем индивидуума во мрак и захватывающем у него дыхание. Но счастье, каково бы оно ни было, дает воздух, свет и свободное движение.

85

Зачем удваивать «я»! Посмотреть на то, что случается с нами, теми глазами, какими мы смотрим обыкновенно на то, что случается с другими, – это очень успокаивает, это полезное лекарство. Наоборот, смотреть на то, что случается с другими так, *как будто бы это случалось с нами* (как требует философия сострадания), это погубило бы нас, и притом в очень короткое время: проведите опыт! Известно первое правило разума, помогающее человеку, желающему поступать разумно: именно то, что мы судим о значении и смысле факта объективнее, когда он случается с другими, например, о смерти, о потере денег, о клевете. Сострадание, как принцип поступков, выставляя требование: страдай о несчастии другого так, как он сам страдает, – производит то, что личная точка зрения, заставляющая все преувеличивать и придавать всему известные краски, должна сделаться и точкой зрения другого – сострадающего. И мы должны были бы страдать одновременно от нашего «я» и от «я» другого, и, следовательно, вместо того, чтобы облегчить, по возможности, тяжесть собственного безумия, мы добровольно стали бы обременять себя двойным безумием.

86

Нежность. Если мы кого-нибудь любим, или уважаем, или удивляемся кому-нибудь и потом узнаем, что он страдает (узнаем всегда с большим удивлением, так как мы всегда думаем, что наше счастье, получаемое нами от него, идет от избытка его собственного счастья), то наше чувство любви, уважения, удивления изменяется *существенно:* оно делается *нежным*, т. е. пропасть между ним и нами как бы замыкается и появляется как бы приближение к равенству. Только теперь мы считаем возможным *отплатить* ему, так как прежде он стоял в нашем представлении выше нашей благодарности. Эта отплата дает нам большую радость и возвышает нас в наших собственных глазах. Мы стараемся угадать, что может смягчить его боль, и даем ему это; если он хочет слов утешения, внимания, услуг, подарков, мы даем ему это; но, прежде всего, если он хочет, чтобы мы страдали его страданием, мы страдаем; но при всем этом мы испытываем *удовольствие* активной *благодарности, т. е. доброй мести.* Если он ничего не хочет и не принимает от нас, мы уходим от него опечаленными, почти больными, как будто бы отвергли нашу благодарность; в этом пункте чести самый хороший человек очень щекотлив. Из всего этого выходит, что, даже в самом благоприятном случае, в страдании есть нечто уни-

жающее. В сострадании же – нечто возвышающее, дающее гордость; это непроходимой пропастью разделяет оба ощущения.

87

Мнимое «выше». Вы говорите, что мораль сострадания выше морали стоицизма? Докажите это! Но заметьте, что моральные понятия «выше» и «ниже» нельзя мерить моральным аршином, так как нет абсолютной морали. Итак, берите масштаб какой-нибудь другой!

88

Похвала и порицание. Если война закончена неудачно, то ищут «виновника» войны; если война кончается успехом, то хвалят ее зачинщика. Всегда ищут «вину» там, где есть неуспех, так как он приносит с собою уныние, против которого невольно применяется единственное средство: новое возбуждение *чувства власти*, а оно находится в осуждении *виновного.* Этот виновный – не козел отпущения, он жертва слабых, упавших духом, впавших в уныние, которым на чем-нибудь хочется показать, что они имеют еще власть и силу. Для того, чтобы после поражения доставить себе чувство власти и силы, можно осудить даже себя самого! Наоборот, прославление виновника успеха часто бывает слепым следствием другой страсти, желающей иметь свою жертву, и на этот раз самому жертвенному животному жертва кажется сладкой и заманчивой, именно если чувство власти в народе или в обществе переполнено большим чарующим успехом, и наступило утомление победой, то начинают отказываться от своей гордости; подымается чувство *преданности* и ищут его объект. *Порицают* нас или *хвалят*, мы служим при этом обыкновенно поводом и очень часто поводом произвольно выбранным, дающим возможность нашему ближнему излить клокочущую в нем страсть порицания или похвалы: и в том и в другом случае мы оказываем ему благодеяние, которое не является заслугой с нашей стороны и не вызывает благодарности с его стороны.

89

Красивее, но менее ценно. Художественная мораль – это мораль быстро вырывающихся аффектов, крутых переходов, патетических, сильных, страшных, торжественных движений и звуков. Это полудикая ступень морали: не позволяйте же ей соблазнить себя эстетическими чарами и не ставьте ее высоко.

90

Сочувствие. Для того чтобы понять другого, т. е. для того, чтобы воспроизвести в себе его чувство, мы часто стараемся отыскать *причину* того или другого возникшего в нем чувства. Например, мы спрашиваем: *чем* он опечален? – для того, чтобы представить себе ту же причину и воспроизвести в себе то же чувство печали. Но чаще мы опускаем это и воспроизводим в себе чувство по тем *действиям,* которые оказывает оно на другого, воспроизводя выражение его глаз, голоса, походки. Тогда в нас возникает подобное же чувство, вследствие ассоциации движений и ощущений. В этой способности понимать чувства другого мы ушли очень далеко, и почти непроизвольно, в присутствии человека, мы упражняемся в этой способности. Всмотритесь только в игру черт женского лица, как оно все дрожит и изменяется от непереставаемого подражания и отражения того, что совершается, чувствуется и ощущается вокруг нее. Но яснее всего показывает музыка, какие великие мы мастера в быстром и тонком разгадывании чувств и в сочувствии: музыка есть воспроизведение чувств, и, однако, несмотря на эту отдаленность и неопределенность, она заставляет нас участвовать в них, так что мы становимся печальными

без малейшего повода к печали, как настоящие умалишенные, только потому, что слышим звуки и ритмы, которые как-нибудь напоминают голоса и движения печалящихся. Рассказывают о датском короле, что музыка какого-то певца так настроила его на воинственный лад, что он вскочил и тут же убил пятерых придворных: не было войны, не было врага, но сила, приводящая от чувства к причине, оказалась так сильна, что одолела и очевидность, и рассудок. Но именно почти всегда действие музыки таково, и чтобы понять это, нет надобности в таких парадоксальных случаях: состояние чувства, которое заставляет нас испытывать музыка, стоит почти всегда в противоречии и с очевидностью нашего действительного положения и с рассудком, который сознает это действительное положение и его причины.

Если спросить, почему воспроизведение в себе чувств другого для нас так легко, то в ответе не может быть никаких затруднений: человек, будучи самым трусливым из всех тварей, благодаря своей тонкой и хрупкой природе, имел наставницей того сочувствия, того быстрого понимания чувства другого (даже животного) – *трусость*. В течение многих тысячелетий он видел в каждом незнакомом ему одушевленном предмете опасность, при одном только взгляде на него он тотчас же воспроизводил в себе выражение черт его лица и его манеры, и по этим чертам и манерам он делал заключения о его злом или добром намерении. Это толкование намерений по движениям и линиям человек применил даже к неодушевленной природе, воображая ее одушевленной; я уверен, что те ощущения, которые мы испытываем при виде неба, леса, скалы, реки, моря, звезд, весны и т. п., имеют такое именно происхождение. Радость и приятное удивление, даже чувство смешного, должны быть признаны позднейшими детьми сочувствия и младшими братьями страха. Способность быстро понимать, которая, таким образом, покоится на способности *быстро становиться на место другого,* уменьшается у гордых самостоятельных людей и народов, потому что они испытывают меньше страха; наоборот, все трусливые и забитые быстро все понимают и могут стать на место другого; здесь также надобно искать настоящую родину подражательных искусств и в высшей интеллигенции. Если после той теории сочувствия, которую я здесь изложил, вспомнить об излюбленной теории мистического процесса, в силу которого сострадание делает из двух существ одно и этим путем облегчает одному непосредственное понимание другого. Если вспомнить, что такая светлая голова, как Шопенгауэр, находил удовольствие в такой сумасбродной, ничего не стоящей болтовне и заразил этим другие светлые и полусветлые головы, то я не могу достаточно надивиться им и достаточно сожалеть о них. Как велика, должно быть, у нас страсть к непонятной бессмыслице! Как еще близко стоит человек к сумасшествию, если он прислушивается к своим *таинственным* интеллектуальным желаниям. *(За что,* собственно, чувствовал себя Шопенгауэр так благодарным, так глубоко обязанным

Канту? Загадка разъясняется очень просто. Кто-то сказал, что можно у категорического императива Канта отнять *qualitas occulta,* и он может сделаться понятным. На это Шопенгауэр разразился такой тирадой: «Понять категорический императив! Бессмыслица! Египетская тьма! Спаси Бог, чтобы он сделался понятным!..» Подумайте теперь, может ли иметь добрую волю к познанию моральных вещей тот, кто заведомо чувствует себя одушевленным верой в *непонятность* этих вещей, тот, кто благоговейно верует в магию, духов, наитие и метафизическое безобразие жаб!).

91

Горе, если овладеет эта страсть! Если бы влечение привязанности и заботы о других («симпатические аффекты») сделались вдвое сильнее, чем они есть в действительности, то на земле нельзя было бы жить. Подумайте только, сколько глупостей ежедневно, ежечасно делает каждый из любви к себе и заботы о самом себе и как невыносимо бывает тогда смотреть на него. А что было бы, если бы мы были для другого объектом этих глупостей и навязчивостей,

которыми до сих пор он награждал только самого себя! Пришлось бы всякий раз, как подходил к нам «ближний», бежать от него, закрывши глаза! И «симпатические аффекты» звучали бы тогда для нас так же зло, как звучит теперь «эгоизм».

92

Затыкать уши перед плачем. Если мы позволяем плачу и страданию других смертных омрачать и покрывать облаками наше собственное небо, кто же должен нести последствия этого помрачения? Другие смертные, в добавление ко всем своим собственным тягостям! Мы не можем ни помочь им, ни утешить их, если мы сами служим эхом их плача или даже только прислушиваемся к нему, – разве только мы научимся искусству олимпийцев и будем наслаждаться несчастием человека вместо того, чтобы быть несчастным от этого. Но это слишком много для нас, хотя мы сделали уже шаг к этому каннибальству богов.

93

«Неэгоистично». Тот пусть и хочет быть полным, – этот переполнен, а хочет быть пустым. Оба стремятся найти индивидуума, который служил бы им для этого. И этот процесс, в высшей степени понятный, называют в обоих случаях *одним* словом: любовь. Как? Ведь любовь есть нечто неэгоистичное!

94

Прочь ближнего. Как? Сущность истинной морали должна заключаться в том, чтобы мы постоянно имели в виду ближайшие и непосредственные следствия наших действий для другого и сообразовались с этим в своих поступках? Это – только узкая, мелкогражданская мораль. Мне кажется, что выше и свободнее – *смотреть дальше* этих ближайших последствий для другого и стремиться к более отдаленным целям, хотя бы даже и через страдания другого, например, стремиться к познанию, не обращая внимания на то, что этот наш свободный дух тотчас принесет другим сомнение, печаль и еще что-нибудь худшее. Не имеем ли мы, по крайней мере, права обращаться с другими так, как обращаемся с самими собой? И если мы не думаем так узко и мелочно о непосредственных следствиях и страданиях для нас самих, зачем должны мы думать о другом? Если бы нам пришло в голову пожертвовать собой для самих себя, что помешало бы нам принести вместе с собой в жертву и ближнего, как это делают государства, жертвуя *одним* гражданином для других, для «общих интересов». Но и мы имеем общие и, может быть, более общие интересы, почему же мы не имеем права пожертвовать несколькими индивидуумами нашего поколения в пользу поколений грядущих? Наконец, мы сообщаем ближнему наш образ мыслей и действий, в котором он может *чувствовать себя жертвой*, мы убеждаем его взять на себя задачу, для которой мы будем пользоваться им. Разве мы не сострадательны? Но если мы одерживаем победу над *своим состраданием к самим себе*, не более ли высокий и свободный этот образ действий и мыслей в сравнении с тем образом действий и мыслей, где чувствуют себя безопасным, открыв, что приносит *вред и пользу ближнему?* Напротив, жертвуя собой и ближним, мы увеличиваем и подымаем выше общее чувство человеческой силы, даже если мы не достигаем чего-нибудь более реального. Но и это уже было бы положительным увеличением *счастья.* Наконец, если это даже… Нет надобности в словах. Вы с одного взгляда поняли меня.

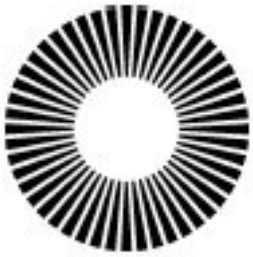
95

Причина «альтруизма». О любви люди говорят так восторженно и благоговейно потому, что они *мало ее имеют* и никогда не могут быть сыты этой пищей: это для них «божественная пища». Пускай поэт в картине утопии опишет всеобщую человеческую любовь существующей: он опишет полное страдания и смешное состояние, какого земля никогда не видала, – каждый человек окружен и согрет любовью не одного любящего человека, как это бывает теперь, а любовью целых тысяч, или даже любовью каждого в силу непреодолимого влечения, которое тогда будут бранить и проклинать так же, как бранили и бранят теперь эгоизм. Поэты того времени, если предоставить им свободу, будут мечтать о благословенном прошлом, свободном от любви, о божественном эгоизме, о возможном еще некогда на земле одиночестве, нелюбви, ненависти, презрении, и вообще всей той «низости» нашего «милого животного мира», в котором мы живем.

96

Взгляд в отдаленное. Если моральными действиями, по одному определению, можно называть лишь такие, которые совершаются ради другого и только ради него, то нет моральных действий! Если моральными действиями, по другому определению, можно называть лишь такие, которые совершаются при свободе воли, то нет моральных действий! Что же такое то, что называют таким именем, что, во всяком случае, существует и требует объяснения? Это следствия некоторых интеллектуальных ошибок.

Предположим, что от таких ошибок освободились, и что сделалось бы с «моральными действиями»? Вследствие этих ошибок мы приписывали до сих пор некоторым действиям большее значение, чем они имеют на самом деле; мы отделили их от «эгоистических» и от «несвободных» действий. Если теперь мы опять соединим их с этими последними, как и должны мы сделать, то мы, конечно, уменьшим их цену, и притом поставим ее даже ниже средней меры, так как «эгоистические» и «несвободные» действия оценивались до сих пор слишком низко по причине той воображаемой глубокой разницы между ними. Будут ли они с этих пор совершаться реже, потому что оцениваются ниже? Несомненно! По крайней мере в то время, пока будет действовать реакция! Но наша переоценка будет иметь своим последствием то, что мы дадим людям возможность совершать со спокойной совестью действия, о которых кричат теперь как об эгоистических, – восстановим истинную ценность этих действий и снимем с них клеймо «зла и вреда»! А так как эти действия до сих пор совершались наиболее часто и будут так же совершаться и впредь, то мы снимаем своей переоценкой наружный вид «зла и вреда» со всей картины наших действий и жизни! Это последствие очень важное! Если человек перестанет считать человека дурным, он перестанет быть таким.



Книга третья

Культура и культуры

97

Маленькие исключения необходимы! В вопросах нравственности поступить иногда против своих лучших убеждений; делать уступки на практике и удерживать за собой духовную свободу; делать так, как делают все, и этим поступком оказать другим *любезность*, вознаградив себя таким сознанием за отступление от своих убеждений, – многие свободомыслящие люди не только не стесняются такого образа действий, но даже считают его «честным», «гуманным», видят здесь «терпимость», «отсутствие педантизма» и вообще называют такой свой образ действий многими красивыми словами, стараясь усыпить ими свою совесть. «Это не важно, если кто-нибудь из нас делает так, потому что все всегда так делают и делали», – так звучит грубый *предрассудок. Грубая* ошибка!

98

Здесь можно искать новые идеалы. Нельзя позволить принимать решение относительно своей жизни в состоянии влюбленности и под влиянием сильной прихоти определять характер своего общества раз и навсегда. Надобно позволить влюбленным отказаться от своих клятв и дать им возможность свободы и именно потому, что на брак надобно смотреть несравненно серьезнее! Не такого ли рода большинство теперешних браков, что не желают иметь третье лицо, могущее быть свидетелем. А между тем, в этом третьем лице – ребенке – почти никогда не бывает недостатка, и ему приходится играть здесь роль более чем свидетеля: он – козел отпущения.

99

Клятва. «Если я лгу, то я нечестный человек, и пусть каждый скажет это мне в глаза». Такую формулу я рекомендую вместо присяги: она сильнее. Даже благочестивый человек не сможет ничего возразить на это: тогда было бы меньше случаев нарушения заповеди «Не произноси имени Господа Бога твоего всуе».

100

Недовольный. Это один из тех древних храбрецов, который сердится на цивилизацию, думая, что она имеет целью сделать доступными всем, в том числе и трусам, все хорошие вещи – честь, богатство, красивых женщин…

101

Утешение находящихся в опасности. В жизни, подверженной большим опасностям и превратностям, греки искали опоры и последнего *refugium* в размышлении и познании. Мы, живя в несравненно более безопасном состоянии, перенесли опасность на размышление и познание и отдыхаем и успокаиваемся от них в *жизни.*

102

Скепсис древних и новых народов. Решимость встречается теперь реже, чем в древние и средние века, очевидно потому, что новое время не имеет более веры в предзнаменования, оракулы, звезды, предсказания, т. е. мы сделались не способны к тому, чтобы верить в определенную *нам будущность*, как верили древние, которые, в противоположность нам, были гораздо меньшими скептиками относительно того, что *предстоит*, чем относительно того, что *есть.*

103

Культ естественных выражений чувства. На что указывает то, что наша культура не только терпит выражение печали, слезы, жалобы, упреки, негодование и смирение и считает их хорошими и более благородными неизбежностями, между тем как дух античной философии смотрел на все это с презрением и не признавал за ними необходимости существования? Вспомните только, как Платон – один из самых человечных философов – говорит о Филоктете трагической сцены. Может быть, нашей современной культуре недостает «философии»? Может быть, отвергнувши тех древних философов, мы все вместе и каждый порознь принадлежим к «черни?»

104

Климат шута. Шуты не водятся теперь около королей: короли любят теперь военных. Но вокруг банкиров и теперь еще растут эти цветы.

105

Воскресители мертвых. Суетные люди оценивают прошлое выше с той минуты, с какой они могут воспроизводить в себе ощущения его; они хотели бы даже, если возможно, снова воскресить его. Но так как суетных постоянно бывает бесчисленное множество, то опасность исторических занятий, как скоро им посвящается все время, нельзя считать незначительной. Слишком много силы тратится на всевозможные воскресения мертвецов. С этой точки зрения, может быть, легко понять все движение романтики.

106

Красота соответственно веку. Если бы наши скульпторы, художники, музыканты захотели воспроизвести дух времени, они должны были бы представить красоту одутловатой, громадной и нервной: так греки, под влиянием своей морали меры, создали красоту

Аполлона Бельведерского. Мы должны были бы назвать его собственно *безобразным!* Но проклятые «классицисты» лишили нас всякой честности!

107

Ирония настоящего. Сейчас у европейцев существует прием: обо всех великих интересах говорить с иронией, – потому что, вечно служа им, они не имеют времени принимать их серьезно.

108

Против Руссо. Если правда, что наша цивилизация имеет в себе что-то достойное сожаления, то перед вами стоит альтернатива или делать дальнейшее заключение вместе с Руссо: «эта жалкая цивилизация виновна в нашей *дурной* нравственности», – или делать обратное заключение против Руссо: «наша *хорошая* нравственность виновна в этой жалкой цивилизации. Наши слабые, неустойчивые общественные понятия о добре и зле и чудовищное господство их над телом и душой сделали, наконец, все тела и души слабыми и сломили самостоятельных, независимых, беспристрастных людей, эти столпы *сильной* цивилизации; где встречаются еще теперь с дурною нравственностью, там можно видеть последние обломки этих столпов». Так стоит парадокс перед парадоксом! Правды не может быть на той и другой стороне; а есть ли она вообще на одной из них? Пусть докажут.

109

Может быть, слишком рано. Теперь кажется так, что под всякими ложными, вводящими в заблуждение именами, и главным образом в большой тайне, делаются со стороны лиц, не считающих себя связанными существующими обычаями и законами, первые попытки организоваться и создать себе право. Меж тем до сих пор они считались преступниками, свободомыслящими, безнравственными, вредными; жили под опалой, с клеймом нечистой совести; развращенные и развращающие. Эта борьба указывает на то, что нет морали, делающей моральными всех, а что каждая исключительно саму себя утверждающая нравственность тратит слишком много хороших сил и стоит человечеству дорого. Не следует приносить в жертву отступников от обычаев, людей часто изобретательных и плодотворных; не следует считать безусловно вредным хотя бы малейшее отступление от морали, – надобно делать новые попытки улучшения жизни, надобно изгнать из мира чудовищное бремя злой совести, – вот общие цели, которые признаются всеми честными, ищущими правды людьми, и к которым эти люди стремятся.

110

Какая мораль не наводит на скуку. Главные нравственные заповеди, которые народ постоянно учит и которые все снова и снова проповедуются ему, касаются главных ошибок народа, и потому не наскучивают ему.

Греки, которым очень часто недоставало умеренности, хладнокровия, здравого смысла и вообще рассудочности, внимательно слушали о четырех сократовских добродетелях, потому что они нуждались в них и к ним-то именно не имели способностей!

111

На распутье. Фу! вы хотите войти в систему, где надобно быть или колесом, или попасть под колеса! Где само собою понятно, что каждый есть то, чем предназначен быть свыше! Где стремление быть частью целой машины принадлежит к естественным обязанностям! Где никто не чувствует себя оскорбленным, если ему кивком головы указывают на человека: «он может быть вам полезным»! Где не стыдятся ездить с визитом, чтобы просить ходатайства! Где не догадываются, что, вмешиваясь в жизнь с такими обычаями, делаешь из себя, раз навсегда, ничтожную глиняную посуду, которой пользуются другие и которую они могут разбить, не понеся ответственности за это! Вы как будто говорите: «В таких людях, как я, никогда не будет недостатка; пользуйтесь мной! Без колебаний!»

112

Безусловные подчинения. Если подумаешь о немецких философах, которых больше всего читают; о немецких музыкантах, которых больше всего слушают; о немецких государственных людях, самых уважаемых, то придется согласиться, что немцам, этому народу безусловных чувств, теперь становится поистине горько – и именно от их собственных великих людей. Там можно трижды видеть великолепное зрелище: каждый раз реку в ее собственном, ею же самой прорытом русле, которая движется так величественно, что часто может показаться, как будто она хочет подняться в гору. И, однако, как бы ни было велико уважение к этому величественному потоку, кто не высказался бы охотно против Шопенгауэра? Кто может быть теперь одного мнения с Р. Вагнером? И наконец, многие ли от всего сердца соглашаются с Бисмарком, если только он сам согласен с самим собой или только показывал вид, что это так? Действительно человек без глубоких основных положений, но с глубокими страстями, подвижный дух на службе сильных глубоких страстей, – потому-то и без основных глубоких положений. В государственном человеке это не должно казаться странным; наоборот, это должно быть вполне правильным и естественным. Но, к сожалению, до сих пор это так глубоко противоречило немецкому характеру! И на что годны вообще эти три образца, которые не хотят жить в мире даже между собою! Шопенгауэр – противник музыки Вагнера; Вагнер – противник политики Бисмарка; Бисмарк – противник всякого вагнерства и шопенгауэрства! Что остается делать? Куда обратиться со своей жаждой «стадной преданности»? Может быть, можно выбрать себе из музыки композитора несколько сот тактов хорошей музыки, которые могут тронуть чьенибудь сердце и к которым лежит чья-нибудь душа, потому что они имеют сердце; может быть, можно будет уйти куда-нибудь и скрыться с этой покражей, а все остальное – забыть? Может быть, то же самое можно проделать с произведениями философа и государственного человека: выбрать, отдаться этому всем сердцем, а все остальное – забыть? Да, если бы только забвение не было так трудно!

Был один очень гордый человек, который хотел слышать о себе все и хорошее, и дурное, но когда ему понадобилось забвение, он не мог дать его себе самому, а должен был трижды заклясть духов; они явились, выслушали его требование и, наконец, сказали ему: «Только это одно не в нашей власти!» Не должны ли немцы воспользоваться опытом Манфреда? Зачем же еще заклинать духов! это бесполезно: не забывают, когда хотят забыть! И как велик был бы этот «остаток» от этих трех гигантов нашего времени, который пришлось бы забывать, чтобы можно было сделаться их поклонниками! Экономнее, однако, воспользоваться удобным случаем и поискать чего-нибудь нового: именно сделаться более честными к самим себе и из народа легковерного поклонения и слепой озлобленной вражды превратиться в народ осторожной критики и благосклонной борьбы. Но прежде всего надобно понять, что безусловное преклонение перед кем-нибудь есть нечто смешное, что учиться для немца не позорно и что есть одна глубокого смысла, стоящая запоминания пословица: *ce qui importe, ce ne sont point les personnes mais les choses* (важны не лица, а дела). Этот афоризм, как и тот, кому он принадлежит, велик, силен, прост и немногословен, – вполне как Карно, солдат и республиканец. Но, может быть, немцам нельзя так отзываться о французе, и вдобавок еще о республиканце? Может быть, и нельзя; может быть, даже немцы не желают и вспоминать о французах! Но великий Нибур говорил своим современникам, что никто не произвел на него такого сильного впечатления и *истинного величия*, как Карно.

113

Образец. Что нравится мне в Фукидиде? За что я чту его выше Платона? Он глубоко и простодушно радуется каждому типичному человеку и каждому типичному случаю; он нахо-

дит, что в каждом типе есть доля *разумного*, и он старается открыть *его.* У него больше практической правдивости, чем у Платона; он не унижает человека, не взваливает на него бремя недостатков и пороков, если он не нравится ему или причинил ему какое-нибудь зло. Наоборот, видя только типы, он находит во всех лицах нечто великое: что было бы делать потомству, которому он посвящает свой труд, с тем, что не типично! Таким образом в нем, человеке-мыслителе, достигла последнего великолепного расцвета та культура непосредственного познания мира, которая в Софокле имела своего поэта, в Перикле – своего государственного человека, в Гиппократе – своего врача, в Демокрите – своего естествоиспытателя. Это та культура, которая заслуживает быть окрещенной именами своих учителей-софистов и которая, к сожалению, с момента этого крещения становится для нас бледной и непонятной: мы теперь подозреваем, что эта культура была, вероятно, очень безнравственной, если против нее боролся Платон и все сократовские школы! Правда здесь так запутана и загромождена, что отпадает всякая охота откапывать ее: так иди же, старая ошибка *(error veritate simplicior),* своей старой дорогой!

114

Греческое нам очень чуждо. Восточное или современное, азиатское или европейское – сравнительно с греческим всему этому свойственны массивность и чувственность в большем размере, чем языку возвышенного; между тем в Пестуме, Помпеях, Афинах и пред всей вообще греческой архитектурой останавливаешься с удивлением: с помощью каких малых размеров греки умеют и любят выражать все возвышенное. Точно так же – какими простыми рисовались в *представлении греков* люди! Как превосходим мы их в познании человека! И какой зато лабиринт представляют теперь наши души и наши представления о душах сравнительно с ними!

Если бы мы захотели и отважились создать архитектуру по образцу наших представлений о душе, мы создали бы лабиринт! Об этом позволяет догадываться и наша музыка, действительно представляющая нас! В музыке человек выступает открыто, воображая, что из-за музыки никто не увидит его самого.

115

Другие перспективы чувства. Что за бессмыслицу говорим мы о греках! Что понимаем мы в их искусстве, душой которого служит страсть к *мужской* обнаженной красоте! Только из-за этого почувствовали они и женскую красоту. Таким образом, они имели для нее совершенно

другую перспективу, чем мы. Так же обстояло дело и с их любовью к женщине: они уважали иначе, они презирали иначе.

116

Питание современного человека. Он умеет переварить многое, даже – почти все: это его гордость! Но он принадлежал бы к высшему порядку именно в том случае, если бы он этого не умел: *homo pamphagus* (всеядный человек) – далеко не совершенный вид. Мы живем в промежутке между прошлым, имевшим более извращенный и более своенравный вкус, и будущим, которое будет иметь вкус, может быть, более отборный, – мы живем в самой середине.

117

Трагедия и музыка. Людей с воинственным настроением духа, как, например, греков времен Эсхила, *трудно тронуть*, и если иногда сострадание одерживает верх над их жесткостью, то оно охватывает их, как вдохновение, подобно «демонической силе», и тогда они чувствуют себя лишенными свободы, связанными, охваченными религиозным страхом. Пока они находятся в этом состоянии, они вкушают наслаждение переживанием чужой жизни, того дивного состояния, смешанного с горчайшей полынью страдания; это самый подходящей напиток для воинов, нечто необыкновенное, опасное, горько-сладкое, что не всякому дается в удел. Трагедия и обращается к этим душам, так испытывающим сострадание, к жестким, воинственным душам, которые трудно одолеть как страхом, так и состраданием, но которым полезно время от времени быть смягчаемым им. Да и на что трагедии тем, которые стоят вечно готовыми для «симпатических аффектов», как паруса для ветров! Когда афиняне сделались мягче и чувствительнее, во времена Платона, то им далеко еще было до отзывчивости жителей наших больших и малых городов, но философы уже жаловались на *вред* трагедии. Век, полный опасностей, какой теперь начинается, и в котором храбрость и мужественность получают большее значение, может быть, мало-помалу снова сделает души жесткими, так что им понадобятся трагические поэты, но теперь они несколько излишни, если употребить мягкое выражение. Может быть, и для музыки придет некогда лучшее время – тогда, когда художникам придется обращаться с нею к людям с вполне развитой личностью, твердым, страстным, – а к чему музыка теперешним непостоянным, непоседливым, недоразвившимся, полуличным, любопытным, похотливым душонкам уходящего века?

118

Панегиристы труда. Когда я слушаю или читаю восхваления «труда», неутомимые речи о «счастье труда», я вижу во всем этом ту же самую заднюю мысль, как и в похвалах общеполезных безличных деяний: страх пред всякой индивидуальностью. В сущности же чувствуют теперь, что «труд», – подразумевается тот суровый труд с утра до вечера, – есть лучшее средство удерживать каждого в известных рамках и мешать развитию независимости. Он требует необыкновенно большого напряжения сил и отвлекает человека от размышлений о себе; от мечтаний, забот, любви, ненависти; он ставит ему перед глазами постоянную маленькую цель и дает легкое и постоянное удовлетворение. Таким образом, общество, где будет развит постоянный упорный труд, будет жить в большой безопасности, а безопасность – для нас высший рай. А теперь! О, ужас! именно «работник» сделался *опасным!* Везде кишат «опасные индивидуумы»! И следом за ними – опасность опасностей – *individuum!*

119

Моральная мода торгового общества. Позади основного положения теперешней моральной моды: «моральные поступки суть поступки вытекающие из симпатии к другим», – я вижу действие социальной склонности к трусости, которая таким образом маскируется интеллектуально. Эта склонность считает высшей, важнейшей и ближайшей задачей избавить жизнь от всякой *опасности* и требует, чтобы каждый всеми силами содействовал этому; потому все те поступки, которые имеют целью всеобщую безопасность и чувство безопасности, получают предикат «хороших». Как мало, однако, радости должны испытывать теперь люди, если высший нравственный закон предписывается им такой тиранией трусости, если они беспрекословно позволяют ей приказывать себе смотреть мимо себя и зорко следить только за чужими бедами и за чужими страданиями! При такой страшной цели – стесать у жизни все острое и выдающееся – не становимся ли мы на дорогу самую пригодную для того, чтобы превратить человечество в песок? Песок! Мелкий, мягкий, бесполезный песок! Таков ли ваш идеал, вы, провозвестники альтруизма? А между тем остается без ответа вопрос: полезнее ли бывает для другого то, если ему постоянно и непосредственно содействуют и помогают (однако эта помощь бывает всегда поверхностна, где отношения между этими лицами не превращаются в тиранию) или когда образуют из себя самого нечто такое, на что другой смотрит с удовольствием, на как бы прекрасный, спокойный, в самом себе замкнутый сад, имеющий высокие стены для защиты от уличной пыли, но в то же время и гостеприимные двери.

120

Основная идея культуры торгового века. Теперь часто можно видеть такое культурное общество, душой которого служит торговля, как у древних греков душой общества было личное состязание, а у римлян война, победа и право. Торговец умеет все оценить, и притом оценить по нуждам потребителя, а не по своим личным нуждам. «Кто и сколько людей будут потреблять это?» – вот его вопрос вопросов. Этот тип оценки применяет он инстинктивно и непрерывно ко всему – к произведениям искусства, науки, мыслителей, ученых, художников, государственных людей, народов и партий, даже к целому веку. Обо всем, что создается, он спрашивает: будет ли на это спрос, можно ли явиться на рынок с таким предложением? – спрашивает для того, чтобы установить цену на вещь. Этот прием становится характером целой культуры, проводится самым последовательным и аккуратным образом, направляет волю, силы; это – то, чем будете гордиться вы, люди будущего века, если правду говорят пророки торгового класса. Но я мало верю в эти пророчества.

121

Критика отцов. К чему затрагивать правду о недавнем прошлом? Потому что теперь живет новое поколение, которое чувствует себя в *антагонизме* с этим прошлым и в этой критике наслаждается первыми плодами чувства власти. Прежде, наоборот, новое поколение хотело закладывать в основу своей жизни старину и начинало себя чувствовать только тогда, когда оно не только принимало взгляды отцов, но перенимало их возможно *строже.* Критика отцов считалась тогда пороком, теперешние молодые идеалисты начинают именно с нее.

122

Учиться одиночеству. О вы, бедняки в великих городах мировой политики, вы, молодые, даровитые, терзаемые честолюбием люди, считающие своей обязанностью при всяком случае

(а случай не заставляет себя ждать) сказать свое слово! Вы, кто, производя таким образом пыль и шум, считаете себя колесницей истории. Вы, которые постоянно приглядываетесь к моменту, постоянно ищете момента, когда можно было бы приткнуть свое слово, вы теряете всякую реальную продуктивность! Пусть такие люди жаждут великих дел; они не способны произвести что-нибудь на свет, события дня гонят их перед собой, как мякину, а они воображают, что они гонят вперед события дня, – бедняки!

123

Предмет ежедневного потребления. У этих молодых людей нет недостатка ни в характере, ни в даровании, ни в прилежании, но им никогда не давалось возможности дать самим себе направление, и они с детских лег привыкли ловить направление. Когда же они стали достаточно зрелыми для того, чтобы «быть высланы в пустыню», с ними поступили иначе: ими пользовались, их воровали у них самих, воспитывали их для того, чтобы сделать из них *предмет постоянного потребления* для других, и внушили им соответственное учение об обязанностях, – и теперь они не могут отделаться от этого, да и не хотят перемены.

Государство, политика, народы

124

Государство. Все экономические и социальные отношения не могут и не должны стоить того, чтобы ими занимались только самые даровитые умы: такое злоупотребление умом хуже отсутствия ума. Есть области труда для незначительных умов, и другие, кроме них, не должны бы работать в этой мастерской: пусть лучше машина разобьется вдребезги! Но так, как обстоит дело теперь, когда все не только думают, что надобно не только интересоваться экономическими и социальными вопросами, но и ежеминутно участвовать в них и жертвовать для них своим трудом, – получается великое и смешное безумие. Создать общество, где не было бы воров, поджогов, которое было бы бесконечно удобно для торговли, – и создать охрану такого общества – такая цель не из столь высоких, чтобы для достижения ее пускать в дело высшие средства и орудия: их следует приберечь для более высоких и более редких целей! Хотя в наш век и говорят об экономии, но наиболее драгоценное – дух – расточают самым непроизводительным образом.

125

Войны. Великие войны нашего времени суть продукт исторического изучения.

126

Прямолинейная последовательность. Говорят с большой похвалой: «Это – характер!» Да! если он обнаруживает прямолинейную последовательность, если последовательность эта сквозит даже в его тупых глазах! Но если человек обладает тонким, глубоким умом, если он последователен в высоком, разумном значении этого слова, публика отрицает существование в нем характера. Поэтому многие хитрые политики играют свою комедию под прикрытием прямолинейной последовательности.

127

Старое и молодое. «В парламенте совершаются вещи безнравственные: там говорят против правительства», – такова была одиннадцатая заповедь старой Германии. Теперь над этим смеются, как над устаревшей модой, но прежде это был вопрос морали! Может быть, некогда будут смеяться и над тем, что считается теперь моральным у молодых поколений, получивших парламентское воспитание: именно над модой ставить политику партий выше своего собственного ума, и при каждом ответе на вопросы *общественного блага* сообразовываться с ветром, дующим в паруса *партии.* «Имей такой взгляд на вещи, какого требует партия», – так гласит их канон. На службу такой морали приносятся теперь всевозможные жертвы: здесь уничтожается личность, здесь есть свои мученики.

128

Государство как произведение анархистов. В странах мирных людей всегда найдется некоторое количество неустойчивых, разнузданных лиц, которые собираются в социалистические партии. Если бы когда-нибудь дошло дело до того, что они стали бы издавать законы, то можно быть вполне уверенным, что они наложили бы на себя железные цепи и установили бы страшную дисциплину – ведь они знают себя! И они выдержали бы эти законы, сознавая, что они сами дали их. Чувство власти, именно *этой* власти, слишком ново и слишком возбуждающе для них, чтобы они не вытерпели всего ради него.

129

Нищие. Нищих надобно удалять: неприятно давать им и неприятно не давать им.

130

Люди дела. Ваше занятие – это ваш величайший предрассудок, оно привязывает вас к вашему месту, к вашему обществу, к вашим склонностям. Прилежные в занятии, ленивые духом, довольные своей бедностью, повесив над этим довольством передник обязанности, – так живете вы, к этому же готовите и своих детей.

131

О великой политике. Хотя польза и тщеславие отдельных лиц и целых народов и оказывают свое влияние в *великой политике*, но сильнейшим потоком, что гонит их вперед, является, все-таки, *потребность чувства власти*, которая пробивается наружу не только в душах государей, но по временам бьет ключом и в душах людей, принадлежащих к низшему слою народа. Постоянно повторяются минуты, когда масса бывает готова жертвовать своим имуществом, своей жизнью, своей совестью, своей добродетелью для того, чтобы получить высшее наслаждение власти и тиранически произвольно распоряжаться другими нациями в качестве победоносной нации. Тогда обильно бьют наружу источники самых разнообразных настроений – щедрости, самопожертвования, надежды, доверия, отваги, воображения. Потому-то великие завоеватели пользовались всегда для своих целей патетическим языком: они имели около себя всегда такие массы, которые находились постоянно только в приподнятом состоянии и хотели слушать только возвышенную речь. Поразительная бессмыслица моральных суждений! Если человек находится в упоении чувства власти, он чувствует себя *хорошо* и называет себя *хорошим*, а другие, на которых он должен распространить свою власть, чувствуют и называют его *дурным.* В басне о человеческих возрастах Гесиод нарисовал один и тот же век, именно век

гомеровских героев, дважды один за другим, и сделал два века из одного. С точки зрения тех, которые стояли под железным страшным давлением этих, искавших приключений, богатырей или с точки зрения тех, которые слышали об этом от своих предков, он представлялся *дурным*, но потомки этих рыцарских племен почитали в нем *хороший*, старый, благословенный век. Поэт не мог сделать ничего другого, кроме того, что он сделал, имея возле себя слушателей того и другого рода!

132

Прежнее немецкое образование. Когда немцами стали интересоваться другие народы Европы, то это произошло единственно благодаря образованию, которого теперь у немцев нет уже и которое они отбросили прочь со слепым ожесточением, как будто оно было болезнью, но ничем лучшим они не могли его заменить, как политическим и национальным ослеплением. Правда, они добились этим, что сделались еще интереснее для других народов, чем прежде, когда вызывали к себе интерес своим образованием, и могут теперь быть довольны! Но нельзя отрицать, что то немецкое образование одурачило европейцев и что оно не заслуживало такого интереса, такого подражания и такого усердного поклонения. Оглянитесь теперь еще раз на Шиллера, Вильгельма фон Гумбольдта, Гегеля, Шеллинга; почитайте их письма и войдите в великий круг их поклонников: общая черта всех их, которая бросится вам в глаза, и невыносима, и жалка! Во-первых, желание показаться морально настроенными – и притом добиться этого какой бы то ни было ценой; затем – погоня за блестящими, лишенными плоти отвлеченностями. Этот нежный, благонравный, убранный серебром идеализм, который хочет притвориться благородным в манерах и в голосе, – вещь насколько смелая, настолько и простодушная, одушевляемая исходящим из глубины сердца отвращением к «холодной» и «сухой» действительности, к анатомии, к полным страстям, ко всякого рода философской воздержанности и скептицизму, но зато и к познанию природы. Свидетелем этого направления немецкого образования был Гете, но он относился к нему своим, особенным образом: стоя рядом с ним, тихо сопротивляясь, молча, все крепче и крепче утверждаясь на своей лучшей дороге. Позднее его застал еще и Шопенгауэр, – ему снова сделался видим действительный мир и чертовщина мира, и он говорил об этом насколько грубо, настолько и воодушевленно, ибо эта чертовщина имеет свою *красоту!* Так что же, в сущности, так прельщало иностранцев? Тот слабый блеск, тот загадочный свет Млечного Пути, который виден был вокруг этого образования; при этом иностранец говорил: «Это от нас очень, очень далеко, туда едва достигает наше зрение и слух, мы мало знаем это, мало можем насладиться им, не способны оценить; но тем не менее это – звезды! Не открыли ли немцы потихоньку уголок неба и не поселились ли там? Надобно постараться поближе подойти к немцам». И подошли к ним поближе; между тем как те же самые немцы почти сейчас же начали хлопотать о том, чтобы стряхнуть с себя блеск Млечного Пути: они слишком хорошо знали, что они были не на небе, а в облаке!

133

Лучшие люди! Мне говорят: наше искусство обращается к жадным, ненасытным, необузданным, разбитым людям настоящего и показывает им благословенные возвышенные картины чистой жизни рядом с картиной их пустыни. Они забываются и могут отдохнуть за этим созерцанием, и, может быть, из этого забвения они вынесут проклятие своей жизни и желание перемены. Бедные художники, если им приходится иметь дело с такой публикой! Иметь такие полужреческие, полу-докторские цели! Насколько счастлив был Корнель – «наш великий Корнель», – как восклицает madame de Sevigne с обычным удивлением женщины перед великим человеком, – насколько выше была его аудитория, если он мог быть ей полезным, рисуя рыцарские добродетели, строгость обязанностей, великодушие жертвы, геройское самообладание!

Как иначе любили бытие и сам Корнель, и его слушатели не из слепой разнузданной «воли», которую проклинают, потому что не могут убить ее, но как такое место, где совместимы величие и гуманность, и где даже самое строгое принуждение форм, подчинение правительственной или умственной власти, не может убить ни гордости, ни рыцарского благородства, ни красоты, ни духа индивидуума, и где, наоборот, развивается прирожденное самодержавие, и величие, и наследственная власть воли и страсти.

134

Значение хороших противников. Говорят, что французы были когда-то самым христианским народом на земле, но не в том смысле, что народные массы были у них более верующими, чем где-либо, а в том, что у них были люди, которые осуществили в себе самые трудные христианские идеалы.

Вот Паскаль – соединение страсти, ума и честности. Вот Фенелоп, полное и чарующее выражение *церковной культуры* во всех ее силах: золотая середина, представляющая нечто несказанно трудное и невероятное. Вот madame de Guyon среди подобных ей французских квиетистов, и все, что старалось разгадать горячее красноречие апостола Павла о состоянии самого возвышенного, самого любящего, самого смиренного и самого восторженного христианина, было там действительностью, имея при этом благородную, женственную, изящную старофранцузскую наивность в словах и манерах. Вот основатель траппистских монастырей, один из последних, серьезно относившихся к аскетическому идеалу, – он не был исключением среди французов, напротив, был настоящим французом, его суровое творение могло ужиться и появиться только среди французов, и последовало за ними в Эльзас и в Алжир. Вспомним и гугенотов: более красивого союза воинственного и трудового духа, утонченных нравов и христианской строгости до сих пор не было. И в Порт-Рояле в последний раз расцвела христианская ученость, и этот цвет великие люди во Франции понимают лучше, чем где-либо в другом месте. Не желая быть поверхностным, великий француз, однако, всегда бывает поверхностным, – между тем как глубина великого немца держится замкнутой, как эликсир, который старается защититься от света и легкомысленных рук своей жесткой чудесной оболочкой. Теперь можно разгадать, почему этот период совершенных типов христианства должен был производить также и противоположные типы нехристианского свободного духа! Французскому свободному духу приходилось бороться всегда с великими людьми, а не только с уродами, с которыми боролся свободный дух других народов.

135

Суетность учителей морали. Небольшой, в общем, успех учителей морали объясняется тем, что они слишком много хотели от одного раза, т. е. были очень ревностны: они хотели давать предписания *всем.* А это значит блуждать в пустыне и держать речи перед зверями, с целью сделать их людьми; что же удивительного, если люди находят это скучным! Следовало бы выбрать ограниченный кружок и для них искать и создавать мораль. Например, отыскать стаю волков и перед нею держать речи, чтобы сделать их собаками. Но наибольший успех все-таки достается тому, кто хочет воспитать ни всех и ни кружок, хотя бы и ограниченный, а только одного, и не будет тратить сил направо и налево. Предшествующее столетие выше нашего именно в том отношении, что в нем так много было поодиночке воспитанных людей рядом со столькими же воспитателями, которые в этом воспитании видели задачу своей жизни, а с задачей – и достоинство жизни в своих глазах и в глазах всякого другого «хорошего общества».

136

Так называемое классическое образование. Для того чтобы показать, что наша жизнь *посвящена* познаванию, и что мы могли бы это забыть, нет! Что мы забыли бы об этом, если бы это предназначение наше само не напоминало нам о себе, часто произносят с чувством эти стихи: «Судьба, я *следую за* тобой! И если бы я не хотел, я *должен* бы сделать это, хотя бы со вздохами и жалобами!»

А теперь, оглянувшись на дорогу жизни, мы точно так же замечаем, что что-то забыто нами, что наша юность истрачена даром, потому что наши воспитатели употребили наши молодые годы, горячие и жаждущие познаний, не на то, чтобы дать нам познание вещей, а на то, чтобы дать нам «классическое образование»! Наша юность истрачена даром, потому что нам сообщали неумело и мучительно для нас тощие сведения о греках и римлянах и об их языке, вопреки основному положению всякого воспитания, что надобно давать каждому такую пищу, какую кто может есть! Наша юность истрачена даром, потому что нас силой заставляли изучать математику и физику вместо того, чтобы заинтересовать нас и указать на тысячу проблем, возникающих в нашей маленькой ежедневной жизни, в наших ежедневных занятиях, во всем том, что совершается каждый день в доме, в мастерской, на небе, на земле, – указать на тысячу проблем, возбудить в нас желание разгадать их и потом сказать, что для этого мы прежде всего должны учить математику и механику, и затем уже сообщить нам научное увлечение абсолютной последовательностью этой науки!

О если бы научили нас только уважать эти науки! О если бы хоть один только раз заставили дрогнуть наши души, сообщив нам борьбу, падение и новую борьбу их светил, и те мученичества, которые знает история точных наук! Наоборот, на нас дохнули дыханием пренебрежения к другим наукам в пользу истории, «формального образования» и «классицизма»! И мы так легко позволили обмануть себя! Формальное образование! Не можем ли мы, указав на лучших учителей наших гимназий, спросить с улыбкой: «Где здесь формальное образование? И если его нет у них самих, как же могут они давать его другим?» А классицизм! Учимся ли мы чему-нибудь такому, чему учили древние свою молодежь? Учимся ли мы говорить, как они, писать, как они? Упражняемся ли мы непрестанно, как они, в спорах, в диалектике? Учимся ли мы красивым и гордым движениям, борьбе, метанию диска, кулачному бою? Заимствуем ли мы хоть что-нибудь из практической аскезы всех греческих философов? Проводим ли мы в жизнь хоть одну античную добродетель, именно так, как проводили ее в жизнь древние? Не отсутствует ли в нашем воспитании вообще всякая мысль о морали, те мужественные, серьезные попытки жить в той или другой морали? Будят ли в нас какое-нибудь чувство, которое ценили древние, а не новые народы? Указывают ли нам деление дня и жизни и цели жизни в античном духе? Изучаем ли мы древние языки так, как изучаем языки живых народов, именно с тем, чтобы говорить – и говорить удобно и хорошо? Никто не может, никто не в состоянии сделать это – и вот результат трудных годов! Мы учимся для того, чтобы знать, что могли и были в состоянии делать прежние люди! А это что за знание! С каждым годом мне становится яснее, что весь греческий и античный мир – плохо понятен нам, даже более, – едва доступен, а если иногда говорят о древних с легкостью, то это свидетельствует или о легкомыслии говорящего, или о наследственном самомнении бессмыслицы.

Таковы области, на которых подвизались мы в нашем детстве, и мы вынесли из него отвращение ко всей древности, отвращение, по-видимому, слишком искреннее! Гордое воображение наших классиков-воспитателей, будто они вполне овладели древностью, заходит так далеко, что они стараются внушить это самомнение и своим воспитанникам, но с задней мыслью, что оно, правда, не может сделать человека счастливым, но достаточно хорошо для честных, бедных буквоедов, которые, как драконы, сидят на своих кладах, вполне достойных их, и

чувствуют себя хорошо. Такое классическое образование получили мы. Поправить дело нельзя – для нас! Но надобно думать не только о себе!

137

Слишком личные вопросы правды. – Что такое, собственно, делаю я? И чего хочу я добиться? Вот вопрос правды, которым не задается наша современная система образования и на который, следовательно, не дается ответа: заниматься этим некогда. Напротив, говорить с детьми о всяких пустяках, а не о правде; говорить женщинам, которым предстоит быть матерями, разные комплименты, а не поднимать вопроса о правде; говорить с юношами об их будущем, а не о правде, – для этого всегда есть время и охота! – А что такое семьдесят лет! они быстро пройдут, и быстро подойдет конец; так не важно, чтобы волна знала, куда и как она бежит! Даже, пожалуй, лучше не знать этого. – «Согласен, но не много гордости в том, что даже никто не поднимет такого вопроса, наше образование делает людей негордыми». – Тем лучше! – «Правда?»

138

Враждебное отношение немцев к просвещению.

Можно подвести итоги тому, много ли содействовали немцы первой половины XIX столетия развитию общей культуры. Во-первых, философы: они вернулись на первую и древнейшую ступень умозрения, находя удовлетворение в понятиях вместо объяснений, подобно мыслителям мечтательных веков: донаучная философия снова была воскрешена ими. Во-вторых, немецкие историки и романтики: их общие старания направлялись на то, чтобы снова дать уважаемое место всякого рода примитивным чувствам – народному духу, народной мудрости, народному языку, всему средневековью, восточному аскетизму и индийству. В-третьих, естествоиспытатели: они боролись против духа Ньютона и Вольтера и пытались, подобно Гете и Шопенгауэру, воскресить идею природы, полной сверхъестественных сил и ее всепроникающего этического и символического значения. Все направление немцев шло против просвещения и против реформы общества; уважение к существующему старались превратить в уважение к прошедшему только для того, чтобы сердце и дух были полны и чтобы в них не нашлось места для будущих, обновляющих целей. На месте культа разума воздвигли культ чувства, и немецкие музыканты, как художники невидимого, воображаемого, строили в этом новом храме еще успешнее, чем все художники слова и мысли. Если примем в расчет, что, в частности, было произнесено и исследовано много хорошего и что потом об этом судили хуже, чем тогда, то все-таки остается в целом, что была немалая общая опасность: под видом полного и окончательного познания прошедшего, подчинить познание вообще чувству. Кант так определял свою задачу – «проложить вере путь, указав знанию его границы». Вздохнем же свободно: эта опасность миновала! И странно, именно те самые духи, которых так красноречиво заклинали немцы, оказались самыми вредными для целей своих заклинателей: история, понимание возникновения и развития, любовь к прошлому, вновь возбужденная страстность чувства и познания, – все эти духи, казавшиеся некоторое время сподвижниками омрачающего, сумасбродствующего, задерживающего духа, приняли в один прекрасный день новую природу и летали теперь, распростирая крылья, взад и вперед над своими старыми заклинателями, в качестве новых, более сильных гениев *именно того просвещения*, против которого их когда-то заклинали. Это просвещение мы должны развивать теперь дальше, не заботясь о том, что принесет оно с собою!

139

Давать ранг своему народу. Многие имеют большие внутренние опыты и смотрят на них и выше них спокойным духовным оком – это делает людей культуры, которые дают *ранг* своему народу. Во Франции и Италии эту роль играет знать; у немцев, у которых знать вообще принадлежит к числу бедных духом (может быть, уже не надолго), эта роль принадлежит духовенству, учителям и их потомству.

140

Мы благороднее. Верность, великодушие, стыдливость перед похвалой, – соединение этих трех качеств мы называем благородством, и в этом отношении мы стоим выше греков. Для понимания, что образ мыслей самого благородного грека должен чувствоваться ничтожным и едва пристойным в среде нашей все еще рыцарской и феодальной знати, можно вспомнить о том утешении, какое внушал себе Одиссей при трудном положении дел: «Перенеси это, мое милое сердце! ты переносило уже несравненно худшее!» Возьмите историю того афинского воина-предводителя, который в присутствии всего генерального штаба на угрозы избить его палкой другим военачальником отклонял от себя этот позор такими словами: «Бей, но выслушай!» Грекам было непонятно жертвовать жизнью во избежание позора, как это делаем мы под впечатлением унаследованной нами рыцарской готовности к жертве, и благородно рисковать всем, как это делаем мы на дуэлях. Им было непонятно считать сохранение доброго имени (чести) выше приобретения дурного имени, когда это последнее связано со славой и чувством власти. Им было непонятно желание оставаться верным сословным предрассудкам, когда эти предрассудки могли помешать сделаться тираном. Это – неблагородная тайна каждого хорошего греческого аристократа: из глубочайшей ревности он считает каждого члена своего сословия на равной ноге с собой и каждую минуту готов броситься на власть, как тигр на добычу. Что ему ложь, убийство, заговор, продажа отечества, если идет дело о власти! Справедливость для людей такого рода была необыкновенно трудна, она считалась почти чем-то невероятным, «справедливый» для грека звучало так же, как «святой» для христианина. Даже когда Сократ говорил: «добродетельный человек – самый счастливый», то они не верили своим ушам, думали, что слышат что-нибудь неверно.

При представлении счастья каждый человек благородного происхождения представлял себе необузданность тирана, все и всех приносящего в жертву своему высокомерию и страсти. В людях, которые втайне так дико фантазировали о счастье, не могло, конечно, глубоко укорениться уважение к государству, но я думаю, что люди, у которых страсть к власти не неистовствует так слепо, как у греков, не нуждаются более в идолопоклонстве понятию государства, чем сдерживалась прежде в границах та страсть.

141

Переносить бедность. Великое преимущество знатного происхождения состоит в том, что оно позволяет лучше переносить бедность.

142

Будущее знати. Наружность «знатного человека» выражает, что в нем сознание власти постоянно играет свою исполненную прелестей игру. Благородный человек, мужчина или женщина, не позволяет себе упасть на стул, как бы в полном изнеможении; он избегает некрасивых движений и тогда, когда все стараются обставить себя поудобнее, например облокачиваться на

спинку кресла во время езды по железной дороге. Он не показывает усталость, даже если в течение нескольких часов простоит на ногах при дворе; он строит свой дом не по плану уюта, а большой, солидный, как будто там будут жить существа высшие (даже имеющие больший рост); на вызывающую речь он отвечает сдержанно и ясно, а не с гневом, краснея и задыхаясь, как плебей. Он умеет сохранять вид постоянно присутствующей, высокой физической силы и желает постоянной ясностью, связностью и обязательностью, даже в трудных положениях, поддержать во всех окружающих впечатление, что его душа и ум стоят выше опасностей и смущения. Что касается страстей, то благородную культуру можно сравнить с всадником, чувствующим удовольствие пустить страстное гордое животное важной поступью – представьте себе век Людовика XIV; или всадник, который чувствует, что его конь, как стихийная сила, несется под ним, и уже близок к тому пункту, где конь и седок сломают себе шею, – но именно теперь он с удовольствием держит голову прямо. В обоих случаях благородная культура дышит властью, и если она очень часто требует только наружности чувства власти, то, однако, впечатление, которое производит эта игра на незнатных, и игра этого впечатления постоянно увеличивают действительное чувство превосходства. Это бесспорное счастье благородной культуры, которое основывается на чувстве превосходства, начинает подниматься теперь на еще более высокую ступень, так как теперь человеку с благородным происхождением и воспитанием дозволяется и не считается позорным отдаваться познанию и почерпнуть там посвящение более духовное, научиться более высокой рыцарской службе, чем прежде, и стремиться к идеалу *победоносной мудрости,* который еще никогда не ставился так высоко, как теперь. В конце концов чем же должна в будущем заниматься знать, если со дня на день разрастается убеждение, что ей *неприлично* заниматься политикой!..

143

Забота о здоровье. Едва начали заниматься физиологией преступников – и уже стоят перед неопровержимым фактом, что между преступником и умственно больным нет существенной разницы; конечно, если думать, что обыкновенный моральный образ мыслей есть образ мыслей *умственно здорового.* Но ни одна вера так не крепка сейчас, как эта, и смело делают отсюда вывод, что с преступником надобно поступать, как с умственно отсталым человеком: не то чтобы относиться к нему с высокомерным состраданием, но с врачебными средствами и целями. Ему надобно дать перемену воздуха, другое общество, новое занятие и, может быть, уединение! Может быть, он сам найдет более удобным для себя прожить некоторое время под надзором, чтобы найти защиту от самого себя и от своей *тиранической* страсти. Можно ему предложить возможность и средство исцеления (уничтожения, преобразования, смягчения страсти) и, в худшем случае, указать ему на ее невероятность. Не надобно ничего упускать, чтобы дать преступнику энергию и свободу духа, надобно стереть из его души все угрызения совести, как какую-нибудь нечистоту и показать ему, каким образом он мог бы вред, причиненный одному, загладить благодеянием, оказанным другому, или, может быть, даже целому обществу, и все это надобно сделать с большой деликатностью! Скрыть его имя или дать ему другое имя, дать ему возможность чаще менять место, чтобы спасти его доброе имя, и, насколько возможно, избавить от опасности его будущую жизнь! А нынче тот, кому причинен какой-нибудь вред, не обращает внимания на то, что причинивший вред может загладить его, а требует мести и обращается за ней к суду, – разве не можем мы выйти из такого порядка вещей? Насколько легче сделалось бы общее чувство жизни, если бы вместе с верой в вину отделались от старого инстинкта мести и стали бы считать тонкой предусмотрительностью счастливых – благословлять своих врагов и *делать добро* тем, кто оскорбляет нас! Уничтожим из мира понятие вины, а вслед за ним пошлем и понятие *наказания!* Пусть эти проклятые чудовища живут в почете где-нибудь в другом месте, а не среди людей, если уже так им надобно жить,

а не погибнуть от отвращения к самим себе! Между тем вспомните, что вред, который терпят общество и отдельные лица от преступников, совершенно однороден вреду, который терпят они от больных: больные вызывают заботу, причиняют неудобства, не производят, а потребляют производимое другими, им нужны надсмотрщики, врачи, они живут, отнимая время и силы у здоровых. И несмотря на все это, разве не назовем мы бесчеловечным того, кто вздумал бы мстить больному за это. Прежде и поступали так: в первобытные эпохи культуры (и теперь еще у многих диких народов) на больного смотрят, как на преступника, как на опасного для общества, как на жилище какого-то демонического существа, который вселился туда за какую-то его вину: следовательно, каждый больной – преступник! А мы, неужели еще не созрели мы до усвоения противоположного взгляда и не можем сказать: каждый «виновный» – больной. Нет! не пришел еще для этого час. Прежде всего, еще нет врачей, которые могли бы сделать предметом своей науки и искусства то, что мы называли до сих пор практической моралью.

Вообще нет еще того жадного интереса к этим вещам, который, может быть, окажется очень сходным с Sturm und Drang'oM тех старых религиозных движений; церковь не вмешивается еще в сферы заботы о здоровье;

учение о теле и о диете не входит еще в обязательный круг преподавания высших и низших школ; нет еще таких обществ, члены которых ставили бы своей программой не прибегать к помощи судов, к наказаниям и мести тем, кто причинил им зло.

144

Против плохой диеты. О! что за обеды едят теперь люди в гостиницах и всюду в тех местах, где живут состоятельные классы общества! Даже когда сходятся высокоуважаемые ученые люди, соблюдается тот же самый принцип, как и за их собственным столом, как и за столом любого банкира, т. е. «больше, возможно больше» и «разнообразнее». Из этого следует, что при приготовлении себе пищи бьют на эффект, а не обращают внимания на пользу; тут возбуждающие напитки должны помогать – облегчать тяжесть желудка и мозга. О! какая пустота и тяжесть должны быть общим следствием! Какими искусствами и книгами можно будет заниматься после такого стола! И наконец, – чтобы сказать что-нибудь приятное, а не только одно отвратительное – такие люди вовсе не кутилы. Что же такое эти обеды? Они играют роль *представительства.* Чего? Сословия? – Нет, денег! Сословий больше нет! Есть только «индивидуум!» Но деньги – власть, слава, честь, ранг, влияние; они создают теперь моральные предрассудки для человека. Никто не захочет положить деньги под тарелку или положить их прямо на стол, следовательно, деньги должны иметь представителя, которого можно было бы поставить на стол: смотри – вот наш обед!

145

Золото. Чем объяснить это страшное нетерпение, которое делает теперь человека преступником? Один обвешивает; другой поджигает дом, потому что он застраховал его хорошо; третий делает фальшивые деньги; три четверти общества лгут и жертвуют своей совестью в пользу кошелька и спекуляции! Что заставляет их всех делать это? Не необходимость же! Многим живется вовсе недурно и, может, они едят и пьют без забот! Страшное нетерпение, что медленно накапливаются деньги и такая же страшная страсть и любовь к накоплению денег терзают их день и ночь и гонят их все вперед и вперед. В этом нетерпении и в этой страсти снова проявляется тот фанатизм *желания власти*, который прежде проявлялся в вере, в желании обладать правдой, и который носил такое красивое имя, что могли и отваживались быть бесчеловечными и обладать в то же время *чистой совестью* (жечь евреев, идолопоклонников, хорошие книги и с корнем уничтожать высокую культуру, как, например, поступили с перуанской и мексиканской культурами). Средства изменились, но вулкан продолжает клокотать:

нетерпение и страстная любовь требуют себе жертв, и то, что прежде делалось «ради Бога», теперь делают «ради денег», т. е. ради того, что дает теперь чувство власти и чистую совесть.

146

Об Израиле. К сценам, к которым готовит нас грядущее столетие, принадлежит также и решение судьбы европейских иудеев. Что они бросили свой жребий, перешли свой Рубикон, теперь всем понятно. Им остается только одно: или стать господами Европы, или потерять Европу, как некогда они потеряли Египет, где они поставили себя перед таким же «или – или». Но в Европе они прошли школу 18 столетий, и притом так, что опыты этой страшной практики приносили пользу не всему обществу, а, главным образом, отдельным лицам. Вследствие этого душевные и духовные силы у теперешних евреев развиты чрезвычайно. Из всех европейцев они реже всего хватаются в нужде за водку или за самоубийство, ища в них выхода из затруднительного положения, что часто делают менее одаренные натуры. Каждый еврей имеет, в истории своих отцов и дедов, громадный запас примеров самой холодной рассудительности в опасном положении дела; примеров самого искусного использования несчастного случая; примеров мужества под покровом жалкой подчиненности; еврейский героизм в spernere se sperni (пренебрегать тем, что тобой пренебрегают) превосходит всякие добродетели смирения и любви.

Хотели наложить на них клеймо презрения и в течение двух столетий не допускали их ни до каких почестей, отказывали им во всем почетном, рассчитывая этим глубже задавить их в грязных ремеслах, – и, правда, от этого они не сделались чище, но сделались ли презреннее? Они сами никогда не переставали верить в то, что они призваны к чему-то высшему и добродетели страждущих никогда не переставали украшать их. Их уважение к родителям, их любовь к детям, их разумные, нравственные браки ставят их особняком среди всех европейцев. Ко всему этому они сумели удалить чувство власти и вечной мести из того дела, которое оставили им, или, вернее, которому оставили их.

В оправдание их ростовщичества должно сказать, что без этой временной, приятной и полезной пытки своих гонителей едва ли могли бы они так долго уважать самих себя, так как мы тогда только уважаем себя, когда можем отплатить за себя добром или злом. Месть, однако, не слишком увлекает их, так как все они либеральны и гуманны, благодаря частым переменам места, климата, среды; они обладают громадным опытом во всех человеческих отношениях, который препятствует им увлекаться страстью. Гибкость и изворотливость их духа так верно служит им, что никогда, даже в самых трудных положениях, они не бывают вынужденными зарабатывать себе хлеб физической силой: в качестве носильщиков, полевых рабочих и т. п. На их манерах отразилось и то, что их душе старались не давать рыцарски благородных чувств и оружия – телу. А теперь, когда они в силу необходимости с каждым годом все более и более роднятся с лучшей знатью Европы, они скоро получат хорошее наследие духовной и физической красоты, так что через сто лет они будут выглядеть такими благородными, что им можно будет стать господами, и подчиненным не стыдно будет от этого! Теперь такая власть еще несвоевременна! Они сами понимают это лучше, чем кто-либо другой; о захвате такой власти силой не может быть и речи, но придет некогда время – и Европа, как вполне созревший фрукт, упадет им в руки, и они станут указателями путей европейцам. Куда же иначе денется тот обильный запас великих впечатлений, который накопила иудейская история для каждой иудейской семьи, – этот запас страстей, добродетелей, энергии, самоотречения, борьбы, побед всякого рода, – куда же иначе направится этот могучий поток, как не на создание великих людей и дел? Если иудеи указывают на такие драгоценные камни и на такие золотые сосуды, как на произведение рук своих, каких не могут указать другие европейские народы, обладающие меньшим и менее глубоким опытом; если Израиль обратит свою вечную месть в вечное благо-

словение Европы, то некогда снова настанет тот седьмой день, когда иудейский Бог радовался своему творению и своему избранному народу, – и мы все будем радоваться вместе с Ним!

147

Невозможное состояние. Беден, весел и независим! Соединение этих трех состояний возможно. Беден, весел и раб – это тоже возможно, и я не мог бы сказать ничего лучшего фабричным рабочим, хотя они вообще не чувствуют как бесчестие быть употребляемыми в качестве винта машины и заполнять собою пробелы в искусстве человеческого изобретения! Фу! думать, что главная суть их несчастия – я подразумеваю их безличное рабство – может получить высшую цену в общем итоге! Фу! позволить уговорить себя, что увеличение безличности, внутри этого машинного влечения нового общества, может превратить позор рабства в добродетель! Фу! потерять личность и сделаться винтиком! Будете ли вы соучастниками теперешней глупости наций, которые хотят, прежде всего, производить как можно больше и сделаться как можно богаче? Вы должны были бы оказать им противовес: какие суммы внутренних ценностей пришлось бы потратить на эту внешнюю цель! Но где у вас внутренняя ценность, если вы не знаете, что это значит – свободно двигаться? Владеете ли вы силой хоть сколько-нибудь? Прислушиваетесь ли вы к тому, что делается вокруг вас? Доставляет ли вам удовольствие быстрое возвышение и падение власти, денег, мнений? Вы не верите больше в философию, в прямодушие человека, свободного от нужды! Напротив, волынка социалистических крысоловов, не переставая, дудит вам в уши, стараясь внушить вам глупые надежды!

Она призывает вас быть *готовыми*, и больше ничего, быть готовыми не сегодня-завтра; так что вы ждете, что должно что-то случиться, и живете все так же, все в той обстановке, как жили и до сих пор, пока это ожидание не сделается голодом, жаждой, лихорадкой, сумасшествием! Должен же наконец каждый подумать про себя: лучше в диких странах мира быть господином, и прежде всего господином себе самому: менять место до тех пор, пока мне будет грозить хоть малейший признак рабства, испытать всяческие приключения, идти навстречу войне, в худшем случае – умереть, но только дальше, дальше от этого позорного рабства, отравляющего жизнь, делающего человека недовольным, злобным, заговорщиком! Это был бы правильный образ мыслей. Рабочие в Европе должны бы были уяснить себе это; положение их как *рабочего сословия есть* нечто человечески невозможное, а не то что нецелесообразное; они должны были бы отроиться из европейского улья, чего еще никогда не было до сих пор. И этим переселением, предпринятым в широких масштабах, протестовать против машин, капитала… Пусть Европа отпустит от себя четверть населения! И ей, и ему на сердце будет легче! Вдали, среди колонизаторских исканий, обнаружится, сколько здравого смысла и ловкости и сколько здорового недоверия вселила мать-Европа в своих сыновей, тех сыновей, которые не могли ужиться с ней, с оглупевшей женщиной, и бежали от опасности сделаться брюзгливыми, раздражительными и сладострастными, как она сама. Добродетели Европы останутся при этих странниках, и то, что на родине стало вырождаться в недовольство, в преступные склонности, там приобретет дикую красивую естественность и будет называться героизмом. Пусть водворится снова чистый воздух в старую переполнившуюся Европу! Пусть недостает нескольких «рабочих сил»! Тогда узнают, что многие потребности являются только тогда, когда их легко удовлетворить, – и снова отвыкнут от многих потребностей; может быть, перевезут тогда в Европу китайцев, а они принесут с собой образ мыслей и образ жизни, подходящий для трудолюбивых муравьев. Да, они могут помочь беспокойной, истощающей себя Европе, дав ей азиатский покой и азиатскую созерцательность, а главное – в чем Европа больше всего нуждается – азиатскую устойчивость в чистоте крови.

148

Отношения немцев к морали. Немец способен к великому, но невероятно, чтобы он совершил великое, так как покоряется всюду, *где он может,* что полезно ленивому духу. Если он поставлен в необходимость стоять одиноко и покинуть свою неповоротливость, если ему невозможно исчезнуть, как цифре в сумме, тогда он обнаруживает свои силы, тогда он становится опасным, злым, отважным, приводит в действие запас спящей энергии, которую он носит в себе и в которую никто не верит, а в том числе и он сам. Если немец в таком случае повинуется самому себе (это большое исключение), то происходит это с такою же неповоротливостью, неумолимостью, постоянством, с какими он повинуется своему королю и чиновникам: тогда он способен на великий шаг, непохожий на тот «слабый характер», какой он предполагает у себя. Но обыкновенно он боится зависеть только от самого себя, импровизировать; поэтому-то Германия и имеет столько чиновников и употребляет столько чернил. Легкомыслие немцу чуждо, оно тяготит его, но в совершенно новых положениях, которые пробуждают его из сонливости, он *почти* легкомыслен. Странность нового положения действует на него как хмель, и он чувствует себя как бы в опьянении! Так, немец в политике теперь почти легкомыслен; если он и пользуется славой основательности и серьезности и так ведет себя в отношениях с другими политическими силами, то во внутренней политике он заносчив и кичлив, он может быть одновременно и веселым, и прихотливым, и непостоянным, и менять лица, партии и надежды, точно маски.

Преимуществом и недостатком немцев, в том числе и их ученых, было до сих пор то, что они ближе других народов стояли к суеверию и к страсти верить; их пороками были, как прежде, так и теперь, пьянство и склонность к самоубийству. Эта опасность лежит на всем, что связывает силы ума и дает волю аффектам (как, например, музыка и крепкие напитки), ибо немецкий аффект направлен против собственной пользы и саморазрушителен, как аффект пьяницы. Само воодушевление менее ценится в Германии, чем где-либо в другом месте, так как оно неплодотворно. Если немец делает что-нибудь великое, он делает это по нужде, в состоянии мужества, со стиснутыми зубами, трезво и часто великодушно.

Какова же может быть мораль у такого народа? Конечно, в ней должно идеализироваться сердечное влечение народа к повиновению. «Человек должен иметь нечто такое, чему он может *безусловно повиноваться»,* – вот немецкое чувство, немецкая логика, такое положение лежит в основе всех немецких моральных систем. Как различна такая мораль от морали античной! Все греческие мыслители, как бы ни разнились они друг от друга, напоминают собой учителя гимнастики, обращающегося к молодежи с предложением: «Ну! за мной! иди ко мне в учение! И ты так отличишься перед всеми, что получишь награду!» Личное отличие – вот античная добродетель. Подчиняться, идти за кем-нибудь, явно или тайно, – вот немецкая добродетель. Еще задолго до Канта и его категорического императива, Лютер, под влиянием того же чувства, говорил: «Должно же быть Существо, которому человек мог бы довериться безусловно». Он хотел быть проще, популярнее Канта, потому и говорил о повиновении личности, а не понятию, да и сам Кант имел в виду разными обходами дойти до повиновении личности. Греки и римляне чувствовали иначе и смеялись над этим, их южная свобода чувства заставляла их бороться против «безусловного доверия», и в последнем итоге их мыслей и чувств у них оставалась доля сомнения во всем – будь то боги, человек или идея. Вот каков греческий философ! *Nil admirari* (ничему не удивляться) – в этом положении он видит философию. А немец, например Шопенгауэр, идет в противоположную сторону и заходит так далеко, что говорит – *admirari id est philosophari* (удивление создает философа). А что если немец попадает в такое состояние, когда он бывает способен к великому? Если настанет момент исключения, момент неповиновения? Я не думаю, чтобы Шопенгауэр был прав, говоря, что единственное преиму-

щество немцев перед другими народами состоит в том, что между ними больше атеистов, чем где-либо, но я знаю то, что если немец попадает в состояние, когда он бывает способен к великому, *он становится тогда выше морали!* Да и как может быть иначе? Теперь он должен делать нечто новое, именно приказывать себе или другим! Но приказывать его не научила его немецкая мораль! О «приказании» в ней забыто!

Книга четвертая

Разные разности человеческие

149

Вопрос по совести. И вообще: чего собственно нового вы хотите? Мы больше не хотим делать причины преступниками и следствия палачами.

150

Польза самых строгих теорий. Если человек держится самой строгой теории морали, то к нему снисходительно относятся за многие нравственные слабости и употребляют при этом очень редкое сито! Напротив, жизнь свободомыслящего моралиста ставят постоянно под микроскоп: с задней мыслью, что ошибка жизни служит вернейшим аргументом против неприятного для нас познания.

151

«Само по себе». Прежде спрашивали: «что такое смешное»? – как будто бы это было нечто вне нас, имеющее смешное своим качеством, и истощались в догадках. Один богослов думал даже, что это «наивность греха». Теперь спрашивают: что такое смех? как возникает смех? Подумали и решили, что в этом нет ничего хорошего, нет ничего прекрасного, нет ничего возвышенного, нет ничего дурного «само по себе», но просто состояние душевное, в котором мы называем такими словами вещи вне и внутри нас. Мы снова отняли у вещей их предикаты, или, по крайней мере, вспомнили, что мы *дали* их им; заметим же, что мы все-таки не потеряли *способности* давать вещам предикаты и вместе с тем не сделались богаче или скупее.

152

В чем знают себя. Как только животное увидит другое животное, оно тотчас же мерится с ним мысленно; точно так же делают люди в диком состоянии. Из этого вытекает, что там каждый человек испытывает себя почти только в отношении к своим оборонительным и наступательным силам.

153

Люди неудачной жизни. Одни сделаны из такого *материала*, что обществу позволено *делать* из них то или другое, во всяких положениях они чувствуют себя хорошо и не жалуются на неудавшуюся жизнь. Другие созданы из слишком особенного материала: не то чтобы очень благородного, но все-таки более или менее редкого, так что они не могут попадать в дурное положение, за исключением единственного случая, когда они могут жить для своей личной цели. Во всех других случаях общество получит от этого вред. Ибо если индивидууму его жизнь кажется неудавшейся, то на обществе отражается вся тяжесть его нерасположения духа, болезней, раздражительности, так как кругом него образуется душный воздух.

154

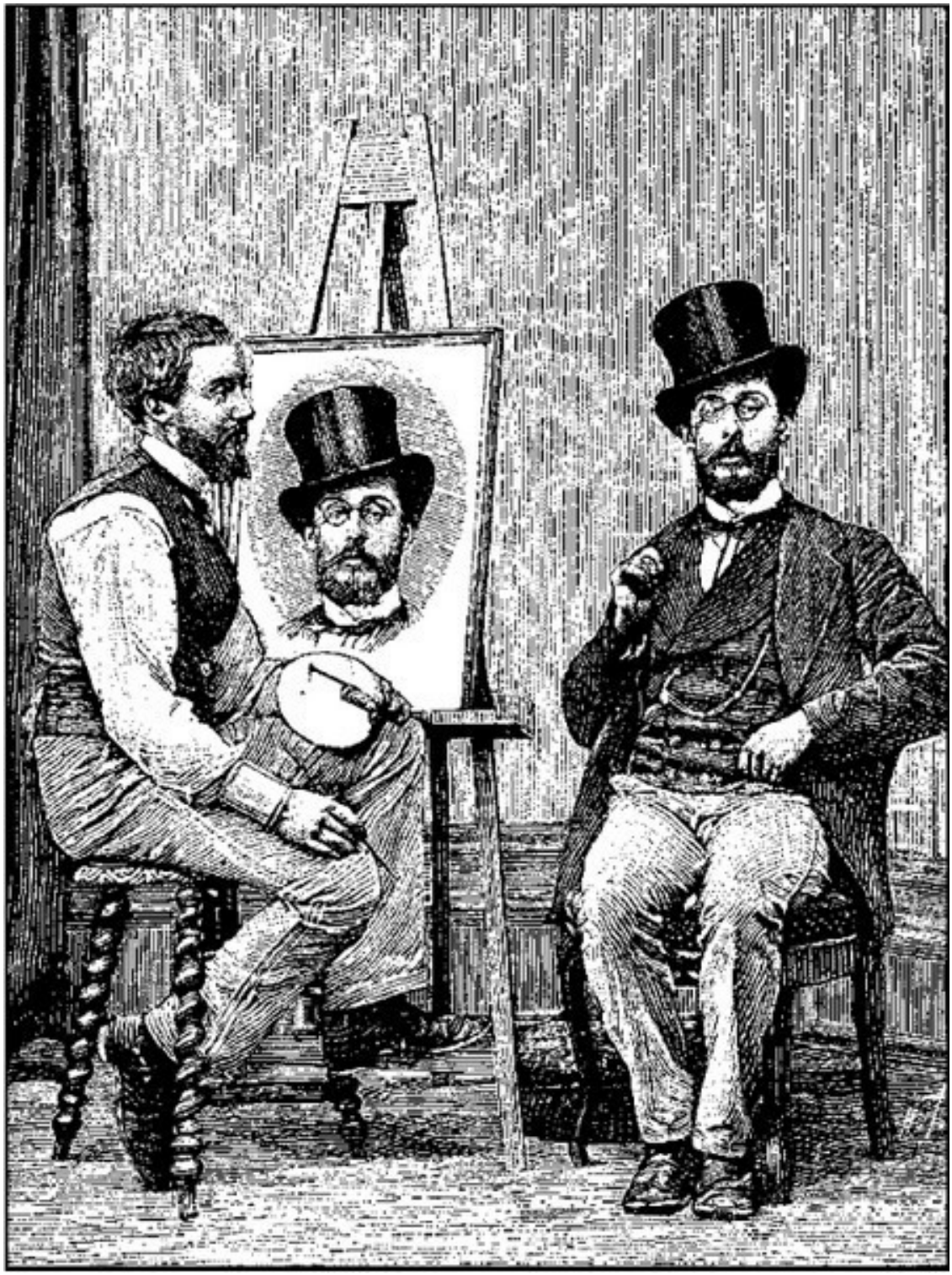
Что за снисхождение! Вы страдаете и требуете, чтобы мы были к вам снисходительны, если в минуту страдания, вы оказываетесь несправедливы к вещам и людям. При чем тут наша снисходительность! Вы сами должны быть *осторожнее* ради самих себя! Страдание! Это очень хороший способ извинения! Вы наказываете самих себя, если бываете несправедливы к чему-нибудь; вы омрачаете этим свой собственный глаз, а не глаз других; вы приучаете себя к ложному, кривому взгляду.

155

Мораль жертвоприношений. «Быть воодушевленным», «приносить самого себя в жертву» – вот первое слово вашей морали, и я охотно верю, что вы, как вы говорите, считаете это честным. Только я знаю вас лучше, чем вы знаете самих себя, если ваша «честность» может идти рука об руку с такой моралью. Вы смотрите с высоты ее на ту, другую, трезвую мораль, которая требует самообладания, строгости, повиновения; вы называете ее эгоистической, и – действительно! – вы *бываете* честны по отношению к самим себе, если она не нравится вам, – она *должна* вам не нравиться! В то время как вы вдохновенно делаете из себя жертву, вы наслаждаетесь упоением мысли – быть единым с личностью сильной – будь то Бог или человек, которому вы себя посвящаете; вы утопаете в чувстве своей власти, о которой свидетельствует, опять-таки, именно жертва. В действительности вам только кажется, что вы приносите себя в жертву, вы – наоборот – в мыслях превращаете себя в богов и наслаждаетесь собой как таковыми. С точки зрения такого наслаждения, как жалка и бедна покажется вам та «эгоистическая» мораль повиновения, обязанностей, рассудочности; она не нравится вам, потому что здесь действительно надобно жертвовать и, жертвуя, не приходится чувствовать себя превращенным в Божество, как это чувствуете вы, принося себя в жертву. Одним словом, вы хотите упоения, вы хотите чрезмерного, а та презираемая вами мораль – против упоения и против чрезмерного. Я верю вам вполне, что она ненавистна вам!

156

Художник. Немцы хотят, при помощи художника, возбудить в себе и пережить воображаемую страсть; итальянцы хотят, при помощи художника, успокоить свою действительную страсть; французы хотят воспользоваться художником, чтобы доказать свое суждение и иметь повод к речам.



157

Распорядиться своими слабостями, как художник! Если мы непременно должны иметь слабости и признать их в конце концов законами над собой, то я пожелал бы каждому иметь, по крайней мере, столько художественной силы, чтобы он мог из своих слабостей сделать подкладку для своих добродетелей и своими слабостями возбудить в нас желание его добродетелей: то, что так замечательно умели делать музыканты. Как часто в музыке Бетховена попадается резкий, ворчливый, нетерпеливый тон; у Моцарта – резвость честных вертепников, при

которой сердце и душа требуют немногого; у Рихарда Вагнера – захватывающее беспокойство, от которого у самого терпеливого человека теряется хорошее расположение духа. Но потом все они снова овладевают своей силой; все они, во время своих слабостей, возбуждают в нас нетерпеливое стремление к их добродетелям и делают наш язык в десять раз чувствительнее к каждой капле их звуков духа, красоты, добра.

158

Обман смирением. Ты причинил своему соседу своим неразумием глубокое страдание и навсегда разрушил его счастье – теперь ты поборол свою гордость и пошел к нему; ты смиряешься перед ним, бранишь в его присутствии свое неразумие и думаешь, что после этой неприятной и крайне тяжелой для тебя сцены все снова пойдет своим порядком, твое добровольное умаление своей чести удовлетворило другого в умалении его счастья, от этого ты чувствуешь в себе некоторый подъем и думаешь, что твоя добродетель восстановлена. Но другой, как и раньше, продолжает испытывать глубокое страдание: для него нет ничего утешительного в том, что ты неразумен, что ты признался в своем неразумии; он вспоминает даже о той минуте, когда ты, в его присутствии, сам бранил себя, как о новой ране, причиненной ему тобой, но он не думает о мести и не понимает, как между тобой и им возможно какое-нибудь примирение. Всю эту сцену ты проделал, в сущности, для себя и пред собой; ты пригласил для этого свидетеля, опять-таки ради себя, а не ради его, – не обманывай себя!

159

Важность и трусливость. Этикеты, блестящие, поражающее костюмы, серьезные мины, величественные взгляды, медленная походка, важная речь и все вообще тому подобное, что называется «достоинством» и «важностью», служат притворными наружными приемами для тех, которые, в сущности, представляют из себя трусов. Они хотят этим внушить страх или перед собой, или перед тем, представителями чего они являются. Не трусы, т. е. те, которые действительно страшны, не нуждаются ни в наружной важности, ни в этикетах; их открытый, честный образ действий, их откровенные слова служат признаком сознаваемой ими своей силы, так как они не боятся, хорошую или дурную славу приобретут они этим.

160

Нравственность жертвы. Если критерием нравственного поступка служит принесение себя в жертву, это значит, что общество стоит на полудикой ступени культуры. Разуму приходится тогда одерживать трудную и кровавую победу, ему приходится побороть упорные, неразумные влечения. Здесь совершается еще та же бессмысленная жестокость, какая совершалась и в былые времена, при жертвоприношениях, требуемых каннибальскими богами.

161

Где надобно желать фанатизма. Флегматические натуры воодушевляются только тогда, когда они исполняются фанатизмом.

162

Глаз, которого боятся. Ничего так не боятся художники, поэты и писатели, как того глаза, который видит их *маленький обман*, который, кроме того, еще понимает, как часто они

стоят на распутье, что увлекает их или к невинному наслаждению самими собой, или к эффектам; который контролирует их, если они хотят выдать плохое за хорошее, если они стараются сделать свое произведение возвышенным и украшенным, не возвышая самих себя; который видит мысль сквозь весь обман их искусства так, как она впервые стояла перед ними, может быть, в виде обольстительного образа, а может быть, и как повседневная мысль, которую они распространяют, сокращают, развивают, окрашивают, приправляют, чтобы сделать из нее что-нибудь вместо того, чтобы мысль делала из них что-нибудь! О! этот глаз, который замечает на вашей работе все ваше беспокойство, все ваше желание подкараулить и алчность, ваши подделки и соперничество друг с другом (это тоже подделка из зависти); который так же хорошо понимает ваш позор, как ваше искусство умеет скрывать краску стыда и обманывать вас самих!

163

«Возвышающее» значение несчастья ближнего. Он в несчастии, и вот приходят «сострадательные люди» и расписывают перед ним его несчастие, – наконец они уходят удовлетворенными и возвышенными, они насытились ужасом несчастного, как своим собственным ужасом и приготовили себе хороший обед.

164

Средство быстро заслужить презрение. Человек, который быстро и много говорит, падает чрезвычайно низко в нашем мнении вскоре после нашего знакомства с ним, и притом даже и тогда, если он говорит умно; падает низко даже не в той мере, как он надоедает нам, но гораздо ниже. У нас в голове мелькнет мысль, скольким людям он уже надоел, и к тому неудовольствию, которое он причиняет нам, к нашему чувству прибавляется еще то неудовольствие, которое, по нашему предположению, он причинил другим.

165

Носители цепей. Будьте осторожны со всеми духами, сидящими на цепи! Например, с умными женщинами, которых судьба загнала в тесную глупую среду и которые стареют в ней. Правда, они лежат, по-видимому, лениво, щуря глаза на солнце, но при всяком неожиданном звуке, при всяком появлении незнакомца они вскакивают с тем, чтобы укусить: они мстят всем, кто не привязан к их конуре.

166

Об обращении со знаменитостями. – А: Почему же ты уступаешь дорогу этому великому человеку? – В: О, если бы я не ошибся в нем! Но к этому меня могут привести наши недостатки! Я близорук и недоверчив, а он носит свои фальшивые бриллианты так же охотно, как и настоящие.

167

Месть в похвале. Вот исписанная страница похвалы, и вы называете ее пустой, но если вы усмотрите в этой похвале скрытую месть, то вы найдете ее крайне тонкой и будете чрезвычайно восхищаться богатством маленьких смелых штрихов и фигур. Не человек, а его месть так тонка, богата и изобретательна; он сам едва замечает это.

168

Гордый. Ах! никто из вас не знает того чувства, которое испытывает после пытки тот, кто подвергся ей, если он возвратится в свою нору, а вместе с ним и его тайна! Что же знаете вы о торжестве человеческой гордости!

169

«Утилитаризм». Теперь ощущения в моральных вещах так переплетаются между собой, что одному человеку доказывают мораль ее полезностью, а другому опровергают мораль тоже – ее полезностью.

170

О немецкой добродетели. Какое извращение вкуса, какое рабство перед внешней важностью, сословием, формой, церемонией должны быть у того народа, который отождествляет понятие «простой» (schlicht) и «дурной» (schlecht), и «простого» человека считает «дурным» человеком!

171

Спор. Друг, вы охрипли от разговоров! – Мне возражают! – Не будем больше говорить об этом.

172

Совестливые. Обратили ли вы внимание на то, какие люди наиболее строго ценят добросовестность? Те, которые сознают за собой много дурных наклонностей, которые с болью и тревогой думают и вспоминают о себе и с беспокойной совестью смотрят на других, которые скрывают по возможности лучше свое внутреннее состояние, – они пытаются импонировать самим себе строгой добросовестностью и точностью исполнения обязанностей, чтобы произвести на других сильное впечатление.

173

Страх пред славой. – А: Что один бежит от славы, что другой намеренно оскорбляет своего прославителя, что третий конфузится, слыша мнение о себе, из страха перед похвалой, – *это встречается, это бывает*, – хотите верьте – хотите нет! – В: Это встречается, это бывает. Только немного подождите!..

174

Отклонять благодарность. Можно отклонять просьбу, но никогда нельзя отклонять благодарность или принимать ее холодно и небрежно. Это больно оскорбляет, а почему?

175

Наказание. Странная вещь – наше наказание! Оно не очищает преступника, в нем нет и искупления: наоборот, оно чернит еще больше, чем само преступление.

176

Партийная нужда. Есть смешная, но не безопасная печаль почти в каждой партии. От нее страдают все те, которые, будучи в течение долгих лет верными и достойными уважения поборниками мнения партии, вдруг, в один прекрасный день, увидят, что трубу глашатая берет в руки другой, гораздо более сильный, чем они, человек. Как вынести им необходимость сделаться немыми! И вот они начинают подавать свой голос, но, конечно, уже в другом тоне!

177

Стремление к деликатности. Если сильная натура, не имея склонности к жестокости, не всегда владеет собой, то она непроизвольно стремится к *деликатности.* Напротив, слабые характеры любят жесткие приговоры, они присоединяются к героям человеконенавистничества, к религиозным или философским отрицателям бытия, тащатся за строгой нравственностью и за трудным «призванием жизни»: они стараются создать себе характер и силу. И это делают они тоже непроизвольно.

178

Предостережение для моралистов. Наши музыканты сделали большое открытие: в их искусстве возможно даже *интересное безобразие!* И они бросаются в этот открытый океан безобразного, как пьяные, и никогда еще не было так легко «играть». Только теперь нашли общий темный фон, на котором даже маленький проблеск красивой музыки приобретает блеск золота и смарагда; только теперь начали уносить слушателя в бурю, волнения, для того, чтобы, дав ему потом покой, позволить вкусить чувство блаженства, которое вообще помогает высокой оценке музыки. Открыли контраст: только теперь возможны и дешевы самые сильные эффекты: никому теперь не нужна хорошая музыка. Но вы должны торопиться! Каждому искусству, дошедшему до такого открытия, осталось уже немного времени. О! если бы наши мыслители имели уши, чтобы через посредство музыки слушать в душах наших музыкантов! Как долго надобно ждать, пока снова представится такой случай, поймать внутреннего человека на дурном поступке и в невинности этого поступка! Ибо о наших музыкантах ходит явная молва, что они подмешивают в музыку свою собственную историю – историю обезображивания души. Прежде хороший музыкант должен был становиться хорошим человеком ради своего искусства. А теперь!..

179

О нравственности сценических представлений. Кто думает, что театр Шекспира производит нравственное действие и что сцены «Макбета» должны непременно отвлечь от зла честолюбия, тот ошибается; и он ошибается еще раз, если думает, что сам Шекспир чувствовал так, как он. Кто действительно одержим бешеным честолюбием, тот *с удовольствием* будет смотреть на свой образ, и если герой гибнет в своей страсти, то это-то именно и есть самая острая приправа в горячем напитке этого удовольствия. Чувствовал ли поэт иначе? Царственно, а вовсе не плутовски идет по своему пути его честолюбец с момента великого преступления! Он увлекает своей «демонической» силой и возбуждает подобные себе натуры к подражанию; «демонической» силой, – говорю я, – вопреки всем выгодам и с опасностью для жизни, и в пользу одной только мысли и одной страсти. Неужели вы думаете, что Тристан и Изольда учат против нарушений брака потому, что они оба гибнут при этом? Это значило бы ставить поэтов

вверх ногами, которые, как, например, Шекспир, заняты самими страстями ради них самих, а не ради поучительных целей. Поэты имеют в виду не проступки и дурной исход их, – так относились к своим сюжетам и Шекспир, и Софокл (в «Аяксе», «Филоктете», «Эдипе»): насколько легко было бы в названных случаях сделать проступок рычагом драмы, настолько решительно избегалось именно это. Трагический поэт со своими образами жизни не будет увлекать против жизни! Он будет призывать скорее: «Чары всех чар, это волнующее, изменяющееся, опасное, пасмурное, а часто блестящее, как солнце, существование! Жизнь – ряд приключений; жить – это значит переживать те или другие приключения, и это всегда будет так!» Так раздается голос поэта из беспокойной, полной силы эпохи, которая упоена была избытком крови и энергии, поэтому мы оказались вынужденными подправить и исправить цель шекспировской драмы, т. е. не понять ее.

180

Независимость. Независимость (в самой слабой ее дозе она называется «свободой мысли») есть форма самоотречения, до которого доходит в конце концов властолюбивый – долго искавший того, над чем он мог бы властвовать, и не нашедший ничего, кроме себя самого.

181

Два направления. Если мы будем рассматривать зеркало, то мы ничего не найдем, кроме вещей в нем; если будем рассматривать эти вещи, то найдем опять зеркало. Такова общая история познавания.

182

Радость, получаемая от действительности. Наша теперешняя склонность к восхищению действительностью, которую мы почти все имеем, объясняется тем, что мы так долго и до пресыщения восторгались недействительностью. Сама по себе эта склонность, в том виде как существует она сейчас, без выбора и критики, является склонностью далеко не удовлетворительной: наименьшая ее опасность – это безвкусие.

183

Тонкость чувства власти. Наполеона очень огорчало то, что он плохо говорит, и в этом он не ошибался; но его властолюбие, которое не пренебрегало никаким случаем и было тоньше, чем его тонкий ум, заставляло его говорить еще хуже, *чем он мог.* Таким образом, он мстил своей собственной досаде (он был завистлив ко всем своим аффектам, потому что они имели *власть)* и наслаждался своим автократическим произволом. Он наслаждался этим произволом и в отношении слушателей и их мнений: как будто вполне достаточно было говорить с ними таким образом. Он даже радовался втайне при мысли, что молнией и громом высшего авторитета, который заключается в союзе власти и гениальности, он усыпляет суждения и портит вкус; и в тоже время холодно и гордо сознавал правду, что он говорит *плохо.* Наполеон, как совершенный до конца, додуманный и выработанный тип страсти, принадлежит к античному человечеству, признаки которого легко узнать: это простое строение и художественное развитие одного или немногих мотивов.

184

Аристотель и брак. У детей великих гениев прорывается иногда сумасшествие; у детей вполне добродетельных людей – тупоумие, замечает Аристотель. Хотел ли он этим прельстить к браку людей, являющихся исключениями?

185

Происхождение дурного темперамента. Неправильности и скачки в расположении духа некоторых людей, их беспорядочность и неумеренность суть последние следствия бесчисленных логических неточностей, неверностей и поспешных заключений, в которых виновны их предки. Напротив, люди с хорошим темпераментом происходят из осторожных, основательных родов, которые высоко ценили разум, – преследуя похвальные или дурные цели – все равно, это влияния не имеет.

186

Притворство– обязанность. Благо больше всего развивалось благодаря долгому притворству, которое старалось казаться благом: всюду, где существовала большая сила, там усматривалась необходимость в притворстве именно этого рода, – оно внушало безопасность и доверие и бесконечно увеличивало действительную сумму физической силы. Ложь, если и не мать, то во всяком случае кормилица блага. Точно так же и честность росла и мужала в большинстве случаев благодаря тому, что требовалась наружность честности и откровенности в наследственных аристократиях. От того что притворство долго пускалось в ход, в конце концов привыкали к тому, что показывали сначала только наружным образом, и это становилось *природой:* притворство, в результате, убивает само себя, – органы и инстинкты являются, сверх ожидания, плодами в саду притворства.

187

Кто же один? Трусливый не знает, что значит быть одному: позади своего стула он постоянно чувствует врага. О! кто же мог бы рассказать нам историю того тонкого чувства, которое называется одиночеством!

188

Ночь и музыка. Ухо, орган страха, мог развиться так хорошо только ночью или в полутьме темных лесов и пещер, как и следует ожидать от трусливой, т. е. самой продолжительной эпохи человечества, какая только была: когда кругом свет, ухо менее нужно. Отсюда характер музыки как искусства ночи и полутьмы.

189

Надобно обдумать! Кто наказывается, тот уже не тот, кто совершил проступок. Он – только козел отпущения.

190

Видимое. Плохо! плохо! То, что приходится больше всего и упорнее всего доказывать, есть не что иное, как видимое, наружное, видеть которого, однако, очень многие не могут, потому что у них нет глаз. Но это так скучно!

191

Берущие вперед. Отличительной и опасной чертой в поэтических натурах является их *творческая* фантазия – она наперед отнимает, наперед внушает, наперед переживает то, что происходит или должно происходить, и в последнюю минуту совершающегося факта она бывает уже утомленной. Лорд Байрон, знавший это очень хорошо, писал в своем дневнике: «Если бы у меня был сын, он должен был бы сделаться человеком вполне прозаичным – юристом или морским разбойником».

192

Разговор о музыке. – А: Что скажете вы об этой музыке? – В: Она овладела мной, я не могу ничего сказать. Слушайте! Она начинается опять! – А: Тем лучше. Давайте постараемся теперь одолеть ее. Могу ли я сказать несколько слов об этой музыке? И показать вам драму, которую, может быть, при первом слушании вы не захотели бы видеть? – В: Отлично! У меня два уха, а при нужде их может быть и больше. Подойдите ближе ко мне! – А: Это еще не то, что он скажет нам, до сих пор он обещает только сказать нечто неслыханное, насколько можно понять из его мимики. Ведь это мимика! Смотрите, как он кивает! как он выпрямляется! как он бросает руки! Вот, кажется, настала высшая минута напряжения, еще две фанфары, и он исполнит свою музыку великолепно и блестяще, как бы играя блеском драгоценных камней. – Довольно! он смотрит восторженно вокруг себя, и на него обращены восторженные взоры; только теперь вполне нравится ему его тема, теперь он становится изобретательным, отваживается на новые и смелые эскизы. Как развивает он свою тему! Ах! обратите внимание, он умеет не только разукрасить ее, но даже нарумянить! Да, он знает, что такое цвет здоровья, он умеет показать его, – в своем самосознании он тоньше, чем я думал. И теперь он уверен, что он убедил своих слушателей, он сообщает свои выдумки, как будто бы это были важнейшие вещи под луною, он смело указывает на свою тему, как будто бы она была очень полезна для этого мира. Ха! как недоверчив он! Как бы мы не утомились! И он рассыпает свои мелодии среди сластей, – теперь он взывает даже к нашим более грубым чувствам, чтобы вызвать в нас возбуждение и снова покорить себе! Слышите ли вы, как он призывает на помощь ритмы бурь

и громов! А теперь, видя, что они захватывают нас, овладевают нами, он отваживается снова ввести свою тему в игру элементов и убедить полуочарованных и потрясенных, что наше очарование и потрясение есть следствие его чудной темы. И на будущее время верят ему слушатели: лишь только сорвется с его инструмента звук, в них возникает воспоминание о прежнем потрясении; это воспоминание помогает теперь теме, оно сделалось теперь «демоническим»! Какой он знаток души! Он повелевает нами, как оратор!.. Но музыка смолкла!.. – В: И хорошо сделала, что смолкла! Я не могу больше выносить этого – слушать *вас!* В десять раз охотнее *я позволю обмануть себя*, чем один раз узнать правду таким образом, как вы ее сообщаете. – А: Это-то я и хотел услышать от вас. Вы довольны тем, что вас обманули! Вы идете сюда с грубыми, похотливыми ушами; вы идете слушать и не понимаете искусства, вы по пути потеряли чутье к честности! И этим вы портите и искусство, и художника! Раз вы рукоплещете, вы держите в своих руках понимание художника, – и горе, если он заметит, что вы не умеете различать между невинной и виновной музыкой. Я подразумеваю, конечно, не «хорошую» и «плохую» музыку, – это бывает в той и другой музыке! Я называю *невинной* музыкой ту, которая думает исключительно только о самой себе, верит себе, и забывает весь мир, помня только о себе, – музыку самого глубокого уединения, для себя самой, которая говорит только о себе и сама с собой и не обращает внимания на то, есть ли слушатели и ценители, понимают ее или нет, и какое производит она действие. Наконец, музыка, которую мы только что слушали, принадлежит именно к этому благородному и редкому роду, и все, что я говорил вам о ней, было ложно, – простите, ради Бога, мою злость! – В: О! стало быть, вы тоже любите *эту* музыку? Тогда вам прощаются многие грехи!

193

Счастье злых. Эти неподвижные, мрачные, злые люди имеют нечто такое, чего вы не можете у них оспаривать, – редкое и странное удовольствие в *dolce far niente,* в покое утром и вечером, в таком покое, какой знает только сердце, которое слишком часто мучается, разрывается, отравляется запальчивостью и раздражением.

194

Слова всегда готовы у нас. Мы выражаем наши мысли постоянно словами, которые у нас под рукою. Или, чтобы вернее выразить мою мысль, мы в каждую минуту имеем именно только ту мысль, для которой у нас есть под рукой слова, которые могут приблизительно выразить ее!

195

Льстить собаке. Стоит этой собаке один раз погладить шерсть, тотчас зарычит она и начнет метать искры; как всякий другой низкопоклонник, и она гениальна в своем роде. Почему же мы не можем выносить ее!

196

Прежние панегиристы. «Он молчит обо мне, хотя он знает теперь правду и мог бы сказать ее. Но она звучала бы местью, а он уважает правду так высоко, достойный уважения человек!»

197

Амулет зависимых. Кто неизбежно зависит от повелителя, тот должен иметь что-нибудь такое, чем он внушал бы страх своему повелителю и держал бы его в узде, например честность, откровенность или злой язык.

198

Зачем так возвышенно! О! я знаю это чудовище! Конечно, оно больше нравится себе самому, если оно выступает на двух ногах, но если оно падает опять на все свои четыре ноги, то мне нравится это больше: такое положение для него несравненно естественнее!

199

Демон власти. Не нужда, не страсть, – нет! любовь к власти есть демон людей. Дайте им всё: здоровье, пищу, жилище, образование – и они будут несчастны, капризны, потому что демон ждет, ждет и хочет удовлетворения. Отнимите у них все, и удовлетворите их демона – и они станут счастливы, так счастливы, как могут быть счастливы люди демона. Но к чему я говорю это еще? Уже Лютер говорил лучше меня об этом в стихах: «Возьмите у нас тело, имущество, честь, детей, жену, – и оставьте нам только царство». Да! Да! – «Царство».

200

Хотеть ошибаться. Завистливые люди с тонким чутьем стараются не узнать получше своего соперника, чтобы можно было им чувствовать, будто они превосходят его.

201

Театр имеет свое время. Если ослабевает фантазия народа, в нем является склонность выводить на сцену свои легенды, и она выносит грубую подделку под его фантазию; но для того времени, когда живет эпический рапсод, театр и актер, наряженный героем, являются тормозом, а не крыльями фантазии: слишком близко, слишком определенно, слишком тяжело, слишком мало грез и полета!

202

Без грации. У него недостаток в грации, и он знает об этом. О! как он умеет маскировать это: – строгой добродетелью, серьезностью взгляда, напускным недоверием к людям и жизни, жесткой шуткой, презрением к более утонченному образу жизни, пафосом, цинической философией. Да, в постоянном сознании недостатка в нем выработался даже характер.

203

Почему так гордо. Благородный характер отличается от обыкновенного тем, что не имеет под рукой известного числа привычек и точек зрения, как тот, они у него случайные, а не наследственные и привитые воспитанием.

204

Сцилла и Харибда оратора. Как трудно было в Афинах говорить так, чтобы увлекать слушателей содержанием, не отталкивая их формой или не отвлекая их формой от содержания! Как трудно еще во Франции писать так!

205

Больные и искусство. Против всякого рода напастей и душевных волнений надобно прежде всего попробовать переменить диету и заняться трудной физической работой. Но люди привыкли в этом случае хвататься за средства опьянения, например за искусство, к вреду своему и искусства. Разве вы не знаете, что, когда вы, будучи больными, требуете искусства, вы делаете и художника больным?

206

Наружная терпимость. Это хорошие, полезные, разумные слова о науке и в защиту науки, но… но… я замечаю за ними вашу терпимость к науке! В уголке вашего сердца копошится все-таки мысль: *она вам не необходима.* Великодушно с вашей стороны ценить ее, быть ее защитником, раз наука не употребляет такого же великодушия против ваших мнений! Знаете ли вы, что вы не имеете даже права на такую терпимость? Что эти благосклонные ужимки – более грубое обесчещение науки, чем открытая насмешка над ней, которую позволяет себе какой-нибудь надменный художник? У вас недостает точного знания о том, что истинно и действительно; вас не беспокоит и не мучит то, что вы находите науку в противоречии с вашими чувствованиями; вы не знаете, что жажда знания должна управлять вами, как закон; вы не чувствуете обязанности в требовании быть со своим взглядом всюду, где познается; ничего не упускать, что познается. *Вы не знаете того*, к чему вы относитесь только с терпимостью? И только *потому*, что вы не знаете этого, вам удается принимать такую благосклонную мину! Вы разгневались бы и сделались фанатиками, если бы наука осветила вам лицо хоть один раз! Что же печалит нас то, что вы относитесь с терпимостью… к фантому, а не к нам! Какое нам до этого дело!

207

Отдых. Именно для тех людей, которые наиболее страстно стремятся к власти, бывает необыкновенно приятно чувствовать себя *побежденными.* Неожиданно и глубоко упасть в чувство, точно в водоворот! Выпустить из рук поводья и нестись – бог знает куда! Кто, что нам оказывает эту услугу – все равно, но услуга эта большая: мы так счастливы, у нас захватило дух, мы чувствуем себя в таком необыкновенном покое, точно в самом центре земли. Совершенно без силы! Игрушка стихийных сил! Это освобождение от большой тяжести, дающее вздохнуть свободно; падение вниз, без труда, как по единому физическому закону; это сон человека, восходящего на гору, который имеет свою цель наверху, но засыпает внизу от глубокой усталости и грезит *счастьем противоположности* – именно падением вниз без малейшего труда. Я описываю счастье, как я представляю его себе в нашем теперешнем, жадном до власти, обществе Европы и Америки. Здесь и там хотят по временам впасть назад в *бессилие*, это наслаждение предлагают им войны, искусство, религии, гении. Если по временам отдаются всепоглощающему, всё подавляющему впечатлению, то это современный отдых! После него

становятся свободнее, энергичнее, холоднее, строже, и неутомимо стремятся дальше к противоположному – к *власти!*

208

Чистота расы. По-видимому, нет чистых, есть только сделавшиеся чистыми расы, да и эти очень редки. Обыкновенно же бывают смешанные расы, у которых рядом с дисгармонией телесной (например, если глаза и рот не соответствуют друг другу) должны быть и дисгармонии привычек и понятий (Ливингстон рассказывает, что он слышал, как говорил кто-то: Бог создал белых и черных людей, а дьявол создал смешанные расы). Скрещивание рас ведет к скрещиванию культур и к скрещиванию моральных взглядов: такие расы бывают, большей частью, злыми, дикими, беспокойными. Чистота – последний результат бесчисленных приспосабливаний, усвоений, выделений, и прогресс в чистоте обнаруживается в том, что сила, существующая в расе, все более и более *ограничивается* отдельными избранными функциями, между тем как прежде ей приходилось действовать слишком много и часто в функциях противоположных: такое ограничение будет иметь наружность *обеднения* и должно быть критикуемо осторожно. Наконец, если процесс очищения удался, вся та сила, которая прежде тратилась на борьбу дисгармонических качеств, начинает служить теперь общему организму, – поэтому сделавшиеся чистыми расы всегда бывают *сильнее и красивее.* Греки представляют собой образец расы и культуры, достигших чистоты; можно надеяться, что достигнет чистоты и европейская раса и культура.

209

Похвала. Вот кто-то, как ты замечаешь, собирается хвалить тебя; ты прикусываешь губы, сердце у тебя замирает: ах! хоть бы миновала эта чаша! Но она не минует, она приближается! Давайте же пить сладкое бесстыдство панегириста, подавим же в себе отвращение и грубое презрение к его похвале, изобразим на своем лице благодарную радость: ведь он хотел сделать нам приятное! И теперь, после того как все это произошло, мы знаем, что он чувствует себя возвышенным, он одержал над нами победу. Да! и над самим собой тоже, ибо ему нелегко было хвалить!

210

Человеческое право и человеческое преимущество. Мы, люди, единственные создания, которые, в случае неудач, могут зачеркнуть самих себя, как неудавшуюся фразу, – все равно делаем ли мы это к чести человечества, или из сострадания, или из ненависти к нему.

211

Превращение. Теперь он становится добродетельным только для того, чтобы сделать этим неудовольствие другому. Не обращайте на него столько внимания!

212

Страстные и холодные добродетели. Мужество как холодная неустрашимость и непоколебимость, и мужество как горячая полуслепая отчаянность, – то и другое называется одним именем! Как же различать *холодные* добродетели от *страстных?* Ошибается тот, кто думает, что «быть добрым» можно только человеку страстному; и не менее ошибается тот, кто счи-

тает эту добродетель принадлежностью только холодных людей! Правда заключается в том, что человечество нашло очень полезным горячее и холодное мужество, и кроме того, оно встречало его не настолько часто, чтобы не отнести его в обоих видах к числу драгоценных камней.

213

В чем мы бываем художниками. Кто делает кого-нибудь своим кумиром, тот старается оправдаться перед самим собой, возвышая его до идеала; он становится художником в искусстве создавать себе чистую совесть. Если он страдает, он страдает не от незнания, а от самообмана, как будто бы он не знал. Внутреннюю потребность и наслаждение такого человека (сюда принадлежат все страстно любящие) нельзя черпать обыкновенными ведрами.

214

Ребенок. Кто живет как дети, т. е. не борется из-за куска хлеба и не думает, чтобы его действия имели решающее значение, тот остается ребенком.

215

Я хочу иметь это все. Кажется, что человек стремится только к тому, чтобы владеть; по крайней мере, формы языка имеют такой смысл, всякое прошедшее действие люди выражают так, как будто бы они получили то или другое в свое владение: ich habe gekämpft, gesiegt (я боролся, я победил), значит, *я имею* в своем обладании борьбу, победу. Каким жадным представляется здесь человек! Даже «прошлое» не спасается от него, он хочет обладать и прошлым!

216

Опасность в красоте. Эта женщина красива и умна. Ах! насколько умнее сделалась бы она, если бы она не была так красива!

217

Домашний мир и душевный мир. Наше обыкновенное расположение зависит от того расположения, в каком мы хотим видеть окружающих нас.

218

Новое выдавать за старое. Многих раздражает, когда им рассказывают новость; они чувствуют превосходство, какое дает новость тому, кто первый знает ее.

219

Где же прекращается «я»? Большинство людей принимают вещь, которую они знают, под свое покровительство, как будто бы знание отдает ее им в собственность. «Я» не имеет границ в страсти присвоения: великие люди говорят так, как будто бы все времена стояли позади них, а они были головой этого громадного тела; хорошие жены вменяют себе в заслугу красоту своих детей, их платья, их собаки, их доктора, и не рискуют только сказать «это все – я». *«Chi non ha, none»,* – говорят в Италии.

220

Домашние животные, растения и родственники их. Есть ли что-нибудь более отвратительное, как сентиментальность в отношениях к растениям и животным со стороны тех тварей, которые изначально живут между собой, как самые лютые враги и не требуют нежного чувства к своим обессиленным и изуродованным жертвам! Перед «природой» такого рода стоит человеку задуматься, если только он человек мыслящий.

221

Два друга. Были друзья, но перестали быть друзьями, и они разорвали свою дружбу одновременно с обеих сторон: один потому, что считал себя непонятым, другой потому, что считал себя слишком понятым, – и оба при этом обманулись! – потому что каждый из них мало знал себя самого.

222

Комедия благородных. Те, которым не удается благородная сердечная искренность, стараются обнаружить свою благородную природу скромностью и строгостью и некоторым пренебрежением к искренности: как будто бы сильное чувство их доверчивости стыдилось показать себя.

223

Где нельзя ничего говорить против добродетели. У трусов считается дурным тоном говорить что-нибудь против храбрости, и такой человек вызывает к себе презрение; человек, не понимающий пощады, очень раздражается, когда говорят что-нибудь против сострадания.

224

Мотовство. У раздражительных и вспыльчивых натур первые слова и действия большей частью не имеют никакого значения для их настоящего характера, они внушаются обстоятельствами и бывают подражаниями духу обстоятельств. Но раз они сказаны или сделаны, то следующие за ними характерные слова и действия часто должны стремиться или к примирению, или к отплате добром, или к забвению.

225

Надменность. Надменность есть показная или наружная гордость; но гордости именно свойственно не иметь способности к притворству, к игре, к лицемерию, – поэтому надмен-

ность есть притворство неспособности к притворству, нечто очень трудное и большей частью не удающееся. Но предположим, что надменный человек, как обыкновенно бывает, изменяет самому себе; его ожидает тройная неприятность: во-первых, на него сердятся за то, что он хотел обмануть нас; во-вторых, на него сердятся за то, что он хотел стать выше нас; в-третьих, над ним смеются за то, что ему не удались обе его попытки. Следовательно, как сильно надобно воздерживаться от надменности!

226

Незнание своего рода. Если мы слушаем, как говорит кто-нибудь, то часто достаточно бывает услышать произношение одного согласного звука (например, «р»), чтобы навести нас на сомнение о правдивости его чувства: мы не привыкли к такому произношению – оно звучит для нас «деланным». Здесь область самых грубых ошибок: то же можно бы сказать и о стиле писателя, который имеет привычки, каких, кроме него, никто не имеет. Его «естественность» как таковая чувствуется только им одним; и он нравится и вызывает к себе внимания именно тем, что он сам чувствует «деланным», в чем он следует моде и «хорошему вкусу».

227

Трудность службы. В великом искусстве служить самой трудной задачей является служить необузданно честолюбивому, который во всем бывает самым сильным эгоистом, но ни в коем случае не хочет считаться таковым, который хочет, чтобы все совершалось по его воле и по его прихоти, но, однако, так, чтобы со стороны казалось, будто он приносит себя в жертву и редко желает чего-нибудь для себя самого.

228

Дуэль. «Если бы я был вызван на дуэль, – сказал кто-то, – я счел бы это выгодным для себя, потому что вокруг меня храбрые товарищи». Дуэль последний, существующий еще теперь, вполне почетный путь к самоубийству, но путь обходной и не вполне безопасный.

229

Пагубное. Самое верное средство погубить молодежь – это заставить ее ценить выше того, кто одинаково думает, чем того, кто думает иначе.

230

Герои культа и его фанатики. Фанатик идеала, имеющего тело и кровь, бывает настоящим фанатиком до тех пор только, пока он *отрицает*, и он страшен этим: он знает отрицаемое так же хорошо, как самого себя, по той простой причине, что он вышел оттуда, там его дом, и втайне он постоянно боится вернуться еще туда, он хочет сделать возвращение туда невозможным для себя именно способом своего отрицания. Но как скоро он начнет утверждать, он закрывает наполовину глаза и начинает идеализировать. Идеалист личности ставит эту личность перед собой в таком отдалении, что не может отчетливо видеть ее, и то, что он видит, ему кажется «красивым», т. е. симметричным, с мягкими линиями, неопределенным. Так как теперь он будет даже молиться на свой идеал, представляющийся ему в дали и в высоте, то он бывает вынужден, для защиты своего идеала от *profanum vulgus* – «непосвященной черни», выстроить ему храм. Сюда приносит он всякие священные, достойные уважения предметы,

которыми он еще владеет, для того чтобы обаяние их еще более возвысило его идеал и чтобы он, питаясь этой пищей, рос и становился все божественнее. Наконец, он создал себе божество, – но увы! есть сила, которая знает, как это случилось, – его интеллектуальная совесть; и другая сила, которая, наоборот, совершенно бессознательно протестует, это – сама обоготворенная личность. Теперь, вследствие культа, хвалебных песен и курения фимиама, она становится несносной и выдает себя, самым очевидным образом, что она не божество, а слишком простой человек. Здесь такому фанатику остается еще один исход: он позволяет идеалу дурно обращаться с ним и с ему подобными и объясняет все несчастье *in maiorem dei gloriam:* еще новый обман и благородная ложь. Он идет против самого себя, и как лицо, с которым несправедливо поступают, испытывает при этом ощущение как бы мученика, – таким образом он высоко поднимается в своем мнении о самом себе. Люди такого рода жили, например, вокруг Наполеона; может быть, именно он и дал нашему столетию романтическое, чуждое духу Просвещения преклонение перед «гением» и перед «героем», – он, пред которым Байрон не стыдился говорить, что он червь по сравнению с таким существом (формулы такого преклонения нашел старый бестолковый брюзга, Ф. Карлейль, который свою долгую жизнь употребил на то, чтобы сделать англичан романтиками, – напрасно!).

231

Наружная примета героизма. Броситься в гущу врагов может быть признаком трусости.

232

Снисходительный к льстецам. Последняя мудрость ненасытно честолюбивого человека – не показывать своего презрения к людям, которое внушается ему видом льстецов, но показывать себя милостивым к ним, как Бог, который не может быть иначе, как милостивым.

233

«Характер». «Что я сказал, то и сделаю», – это считается признаком «характера». Как много поступков совершается не потому, что они выбраны были разумно, а потому что пришли они нам в голову, раздражают наше честолюбие и нашу гордость, так что мы слепо приводим их в исполнение! От этого в нас самих является вера в наш характер, в нашу добрую волю, а следовательно, и в нашу *силу,* а выбор возможного разумного поддерживает в нас сомнение в нас самих и чувство слабости.

234

Полная правда. Люди часто лгут невыразимым образом, но они не думают об этом и, в общем, не верят в это.

235

Шутка знатока людей. Он думает, будто он знает меня и чувствует себя тонким и умным, если он обращается со мной так-то и так-то; я стараюсь не разочаровывать его. Я должен вознаградить его, так как он *расположен* ко мне за то, что я даю ему чувство превосходства знания. Вот другой: он боится, что я воображаю себе, что я его знаю, и выглядит от этого принужденно: он ведет себя странно и неопределенно и старается ввести меня в заблуждение относительно себя, чтобы таким образом стать выше меня.

236

Губители мира. Этому ничего не удается, и он, наконец, в нетерпении кричит: *«Хоть бы погиб весь мир».* Это страшное чувство – верх зависти, которая делает такое умозаключение: так как я не могу *ничего* иметь, то пусть весь мир *ничего* не имеет! Пусть весь мир превратится в *ничто!*

237

Греческий идеал. Чему удивлялись греки в Одиссее? Прежде всего, способности ко лжи и к хитрому и страшному возмездию, способности применяться к обстоятельствам: если надобно – казаться благороднее самых благородных; способности быть всем, чем хочешь; геройской стойкости, уменью пользоваться всеми средствами, – все это – греческий *идеал!* Самое удивительное здесь то, что не чувствуется противоречие «казаться» и «быть», а следовательно, не может быть и речи о безнравственном. Были ли еще когда-нибудь такие актеры!

238

Facta! Да! Facta ficta! Историку приходится иметь дело не с тем, что действительно было, а только с событиями предполагаемыми, так как только эти последние имели последствия. И точно так же только с воображаемыми героями. Его тема, так называемая всемирная история, представляет собой мнения о воображаемых действиях и о предполагаемых мотивах, которые снова подают повод к мнениям и действиям, реальность которых тотчас опять испаряется и действует только как дым… Историки рассказывают о вещах, которые никогда не существовали, разве только в воображении.

239

Не уметь торговать – почетно. Продать свою добродетель по возможно высокой цене или даже пустить ее на проценты в качестве учителя, чиновника, художника – все равно что сделать из гения и таланта – лавочника.

240

Страх и любовь. Страх развивал ум людей больше, чем любовь, потому что страх хочет разгадать, что представляет из себя такой-то человек, что он может, чего он хочет: обмануться в этом было бы опасно и вредно! Наоборот, любовь имеет тайное побуждение видеть в другом столько хорошего, сколько возможно, или ставить его так высоко, как возможно; обмануться в этом было бы приятно и выгодно – любовь так и делает.

241

Добродушные. Добродушные получили такой свой характер от постоянного страха, который имели их предки перед иноземным нападением: они сдерживали себя, унижались, просили прощения, преклонялись, льстили, смирялись, гнулись перед сильным, скрывая свое неудовольствие и досаду на него и стараясь быть веселыми и спокойными. И весь этот слабый и наигранный механизм они передали по наследству детям и внукам. Эти последние хотя и освободились от постоянного страха, но тем не менее постоянно играют на своем инструменте.

242

Так называемая душа. Сумма внутренних движений, которым легко и с удовольствием подчиняется человек, называется душой; человек считается *бездушным*, если при этих внутренних движениях в нем замечается равнодушие и жесткость.

243

Забывчивые. Во вспышках страсти и в грезах сна и помешательства человек представляет доисторическую эпоху свою и человечества – *животное состояние* с его дикими гримасами; его воспоминание переносится далеко назад, между тем как его цивилизованное состояние развивается из забвения этих первобытных состояний, следовательно, из ослабления этого воспоминания.

Кто забывчив и всегда далек от этих состояний, тот *не знает* людей, но выгодно для всех, чтобы и здесь и там встречались такие индивидуумы, которые произошли из божественного семени и рождены разумом.

244

Нежелательный друг. Человека, надежд которого нельзя удовлетворить, лучше иметь врагом, чем другом.

245

Из общества мыслителей. Среди океана становления (Werdens) просыпаемся мы на маленьком островке, который не больше лодки, мы, искатели приключений, перелетные птицы, и озираемся кругом так поспешно и так жадно, как только можно, потому что может налететь ветер или набежать волна на этот островок, и от нас не останется ничего! Но здесь, на этом маленьком пространстве, мы встречаемся с другими перелетными птицами, слышим о птицах, бывших нашими предшественниками, – и так живем мы одну драгоценную минуту познания, среди веселого хлопанья крыльями и чириканья друг с другом – и снова летим на океан искать приключений, в душе не менее гордые, чем он сам.

246

Отрекаться. Отдать что-нибудь из своей собственности, потерять свое право приятно, так как это указывает на большое богатство. Таково великодушие!

247

Слабые секты. Секты, которые чувствуют себя слабыми, охотятся на отдельных интеллигентных приверженцев и хотят качеством пополнить то, что они теряют количеством. В этом заключается немалая опасность для интеллигентных.

248

Приговор вечера. Кто размышляет о прошедшем дне и о своей жизни, когда он доживет до вечера или утомится, тот обыкновенно доходит до меланхолического размышления, хотя при-

чиной этого бывает не день и не жизнь, а утомление. Во время дел нам обыкновенно некогда бывает судить о жизни и о бытии; некогда бывает заниматься этим и во время удовольствий.

249

Предосторожность против систематиков! Есть сценическая игра систематиков: когда они хотят создать систему и сделать горизонт круглым, они должны стараться выводить на сцену свои более слабые качества в стиле более сильных, они хотят представлять совершенные и сильные натуры.

250

Гостеприимство. Смысл обычая гостеприимства таков: ослабить к себе вражду в чужом человеке. Когда в чужом человеке перестают видеть врага, то гостеприимство прекращается; оно существует, пока существует то злое предположение, которое обусловливает его.

251

О *погоде.* Необыкновенная и неожиданная погода не располагает людей друг к другу: они становятся при этом жадными к новому, потому что они должны бывают отступить от своих привычек. Поэтому деспоты любят такой климат, где погода – моральна.

252

Опасность в невинности. Невинные люди всегда становятся жертвами, потому что их неведение мешает им делать различие между мерой и чрезмерностью и вовремя стать предусмотрительными. Так невинные, т. е. неопытные, молодые женщины привыкают к частым наслаждениям афродизии и должны обходиться без них позднее, когда их мужья становятся больны или рано вянут; именно простодушный и доверчивый взгляд, что такая частая связь с ними – явление обычное, доводит их до нужды, которая ставит их перед лицом самых сильных препятствий. Известно, кто любит человека, не зная его, тот становится добычей чего-то такого, чего он не любил бы, если бы мог это предвидеть. Вообще, где нужны опытность, предусмотрительность, осторожные шаги, именно невинный может погибнуть скорее всего, потому что он не понимает и не видит яда, лежащего на дне бокала, и выпивает его дочиста. Вспомните только практику всех королей, церквей, сект, партий, обществ: не невинный ли, как наиболее приятная приманка, употребляется всегда на самые опасные дела? Так Одиссей пользуется невинным Неоптолемом, чтобы украсть у старого, больного Филоктета его лук и стрелы.

253

Жить, насколько возможно, без врача. Мне кажется, что больной поступает неосмотрительнее, когда он имеет врача, чем когда он сам заботится о своем здоровье. В первом случае для него достаточно, если он соблюдает все то, что ему предписано; во втором случае мы с большей сознательностью относимся к тому, ради чего даются предписания – к нашему здоровью и гораздо больше замечаем, больше требуем и больше запрещаем себе, чем это бывает, когда мы следуем предписаниям врача. Все правила имеют то же следствие: скрываясь позади правила, меньше обращать внимания на самую цель и поступать легкомысленнее.

254

Помрачение неба. Знаете ли вы месть застенчивых людей, которые ведут себя в обществе так, как будто они украли свои члены? Знаете ли вы месть смиренных душ, которые всюду пробираются тайком? Знаете ли вы месть пьяниц всякого рода, для которых утро – самая скверная часть дня? Знаете ли вы месть больных и угнетенных всякого рода, которые не смеют больше надеяться быть здоровыми? Число этих ничтожных мстителей и актов их мщения громадно; воздух постоянно кишит пускаемыми стрелами и стрелочками их злости, так что солнце и небо жизни омрачаются от этого и тьма покрывает не только их, но и нас всех. Что может быть хуже того, что эти стрелы слишком часто царапают нам кожу и колют сердце? Не станем ли мы отрицать и солнце и небо только потому, что мы подолгу не видим их? Итак, одиночество! одиночество!

255

Философия актеров. Счастливая иллюзия великих актеров, что историческим личностям, которых они представляют, было, действительно, так же хорошо, как им при их представлении! Но они сильно ошибаются в этом: их способность подражать и угадывать, которую они охотно выдают за способность ясновидения, проникает настолько глубоко, чтобы объяснить жесты, звуки, взгляды и вообще наружность, т. е. ими схватывается тень души великого героя, государственного человека, воина, честолюбца, скептика; они проникают почти в душу, но не в дух своих объектов. Это было бы, конечно, хорошее открытие, – что для того, чтобы проникнуть в сущность какого-нибудь состояния, достаточно только одного ясновидящего актера, и не надобно ни мыслителей, ни ученых, ни специалистов! Но, коль скоро высказываются громко такие претензии, не забудем, что актер есть только идеальная обезьяна, и притом обезьяна до того, что он даже не может думать о «сущности» и о «существенном»: игра, декламация, жесты, сцена, кулисы, публика – для него – все!

256

Жить в стороне и верить. Средство сделаться пророком своего времени теперь то же самое, как и прежде: надобно жить в стороне, с небольшими знаниями, с немногими мыслями и с очень большим мнением о самом себе. В конце концов у нас является вера, что человечество не может существовать без нас, *потому что мы, совершенно очевидно*, существуем без него. Коль скоро является эта вера, тогда веру и находят. Наконец, вот совет для того, кто, может быть, нуждается в нем (он дан был Вислею его духовным учителем Беллером): «Проповедуй веру, пока ты имеешь ее, и тогда ты будешь проповедовать ее, потому что ты ее имеешь».

257

Знать свои обстоятельства. Мы можем ценить свои силы, но не свою *силу.* Обстоятельства скрывают и показывают нам ее… нет! они увеличивают и уменьшают ее. Надобно считать себя силой различной величины, продуктивность которой, при благоприятных обстоятельствах, возможно, может равняться всесильной: следовательно, надобно думать об обстоятельствах и не жалеть усилий в наблюдении за ними.

258

Басня. Дон Жуан познания: его не открыли ни философы, ни поэты. У него нет любви к вещам, которые он познает, но он имеет ум, страсть и увлечение погоней за познанием и его интригами; он способен подняться до высших и отдаленнейших звезд познания, туда, где ему уже не к чему будет стремиться, разве только к абсолютно «горькому» познанию, подобно пьянице, который в конце пьет полынную и крепкую водку. Так, в конце концов, ему хочется ада, это последнее познание, которое его *увлекает.* Может быть, для того, чтобы и оно разочаровало его, как все познанное! И тогда он должен остаться на века пригвожденным к разочарованию и превратиться даже в Каменного гостя, с требованием ужина познания, в котором больше он никогда не будет принимать участия! – потому что уже весь мир не в состоянии дать этому голодному ни одного куска.

259

Идеалистические теории. Идеалистические теории встречаются чаще всего у несомненных практиков, которые нуждаются в их блеске для своей славы. Они хватаются за них инстинктивно и при этом не испытывают даже никакого чувства притворства: так же как англичанин не чувствует себя лицемером со своим христианством и соблюдением воскресенья. Наоборот, созерцательным натурам, которые должны обуздывать свою фантазию и бояться молвы мистицизма, подходящи только реалистические теории; за них хватаются они с такой же инстинктивной необходимостью, но не теряя также, при этом, своей честности.

260

Клеветники веселости. Люди, тяжело израненные жизнью, подозревают, что веселость свойственна только детям и свидетельствует об отсутствии ума и что взрослый веселый человек может возбудить к себе такое же сострадание, как ребенок, лежащий при смерти и все еще занимающийся своими игрушками. Такие люди усматривают среди роз скрытые могилы; игры, шум, веселая музыка кажутся им самообманом тяжко больного, которому хоть на минуту хочется еще вкусить очарование жизни. Но такой приговор о веселости – не что иное, как преломление ее лучей на темном фоне утомления и болезни; это также нечто трогательное, побуждающее к состраданию, также нечто детское или ребяческое, но из того второго *детства*, которое идет позади старости и впереди смерти.

261

Еще не достаточно! Еще не достаточно указать вещь, надобно людей соблазнить ею или поднять до нее. Поэтому знающий должен научиться высказать свою мудрость, и часто так, чтобы она звучала как глупость!

262

Право и граница. Аскетизм является правильным мировоззрением для таких, которые должны искоренить свои чувственные влечения, так как они дикие хищные звери. Но и только для таких!

263

Надутый стиль. Художник, который не хочет высказаться в своем сочинении и тем облегчить себя от волнующего его чувства, а наоборот, хочет придать ему чувство волнения, становится высокопарным, и стиль его надутым.

264

«Человечность». Мы не считаем животных моральными существами. Но думаете ли вы, что животные считают нас моральными существами? Если бы животное могло говорить, оно сказало бы: «Человечность – предрассудок, которым, по крайней мере, мы, животные, не страдаем».

265

Благодетельный. Человек благодетельный удовлетворяет потребность своего духа, когда благотворит. Чем сильнее эта потребность, тем меньше думает он о другом, который служит ему средством для удовлетворения его потребности; он бывает неделикатен и даже иногда оскорбляет. (Это можно сказать об иудейской благотворительности, которая, как известно, обладает большей пылкостью, чем благотворительность других народов.)

266

Чтобы любовь ощущалась как любовь. Нам необходимо быть честными по отношению к самим себе и очень хорошо знать самих себя, чтобы быть в состоянии оказывать по отношению к другим то человеколюбивое притворство, которое называется любовью и добром.

267

К чему мы способны? Одного человека целый день так мучил его беспорядочный, негодный сын, что вечером он убил его и, едва переводя дух, сказал своей семье: «Ну! теперь мы можем быть спокойны!» Кто знает, до чего могут довести нас обстоятельства!

268

«Естественно». Быть *естественным*, по крайней мере, в своих ошибках, есть, может быть, последняя похвала.

269

Суррогат совести. Один человек служит для другого совестью; и это особенно важно, если и этот последний никакой другой совести не имеет.

270

Превращение обязанностей. Если обязанность перестает казаться тяжким бременем, если она в конце концов превращается в приятную склонность, то права других, затрагиваемых нашими обязанностями, а теперь нашими склонностями, становятся чем-то другим: именно они делаются поводом к приятным ощущениям для нас. Другой, вследствие своих прав, ста-

новится отныне приятным для нас, тогда как прежде мы благоговели перед ним и боялись его. Признавая и поддерживая область его силы и власти, мы ищем *удовольствия* для самих себя. Когда квиетисты перестали видеть в христианстве бремя и стали находить наслаждение в вере, их девизом сделалось: «Все в честь Бога!» Все, что ни делали они в этом направлении, они не считали жертвой. Этот их девиз звучал для них: «Все для нашего удовольствия!» Требовать, чтобы обязанность *постоянно* была бременем, как это делает Кант, значит требовать, чтобы она никогда не обращалась в привычку; в этом требовании виден маленький остаток аскетической жестокости.

271

Очевидность против историков. Ясно, что люди выходят из чрева матери. Однако выросшим детям, стоящим рядом с матерью, это кажется бессмысленной гипотезой: очевидность против нее.

272

Выгоды незнания. Кто-то говорил, что в детстве он имел такое презрение к кокетливым капризам меланхолического темперамента, что до половины своей жизни он не знал, какой у него темперамент; а его темперамент был именно меланхолический. Он считал это незнание лучшим из всех возможных незнаний.

273

Не смешивайте! Да! Он рассматривал вещь со всех сторон, и вы думаете, что это истинный человек знания. Нет! он хочет убавить ее цену: он хочет ее купить!

274

Мнимо моральное. Вы не хотите никогда быть недовольными собой, никогда не страдать от себя, и называете это моральной склонностью! Хорошо! А другой может назвать это трусостью. Верно только одно: вы никогда не совершите путешествия вокруг света (который представляется в вашем лице) и никогда не будете подвергаться случайностям! Неужели же вы думаете, что мы, думающие иначе, чем вы, из-за простой глупости подвергаем себя трудностям путешествия по своим собственным пустыням, болотам и снежным горам и добровольно берем на себя боль и неудобства?

275

Тонкость в ошибке. Если Гомер, как говорят, иногда спал, то он был умнее всех художников с честолюбивой бессонницей. Надобно дать возможность поклонникам перевести дух, превращая их, время от времени, в порицателей, ибо никто не выдержит непрерывного блеска вечно действующего «хорошего». Из благодетеля такой художник превратится в надзирателя, которого ненавидят за то, что он руководит нами.

276

Наше счастье не аргумент «за» и «против». Многие люди способны только к небольшому счастью. Это не может служить возражением против их мудрости, что будто бы она не может более дать им счастья, как не может быть возражением против медицинского искусства то

обстоятельство, что одни никогда не лечатся, а другие постоянно больны. Человек может найти себе такую жизнь, в которой он осуществит наивысшую меру счастья, и при этом все-таки жизнь его будет жалка и незавидна.

277

Враги женщин. «Женщина – наш враг». Когда мужчина так говорит мужчине, в нем говорит необузданная страсть, которая ненавидит не только саму себя и свое средство.

278

Школа оратора. Когда молчишь целый год, то отвыкаешься болтать и приучаешься говорить. Пифагорейцы были лучшими государственными людьми своего времени.

279

Чувство власти. Надобно точно различать: кем впервые овладевает чувство власти, тот хватается за все средства и не пренебрегает никакой пищей для него. Но кто имеет уже чувство власти, тот становится разборчив и похотлив в своих вкусах, его уже редко что-нибудь удовлетворяет.

280

Вовсе не так важно. Когда присутствуешь при чьей-нибудь смерти, то обыкновенно в голове мелькает мысль, которую стараешься прогнать из ложного чувства приличия, – именно мысль, что акт смерти не так важен, как утверждает принятое благоговение пред ним, и что умирающий терял, вероятно, в жизни более важные вещи, чем предстоит ему потерять сейчас. Конец здесь, очевидно, не цель!

281

Как лучше всего обещать. Когда дается обещание, то им бывает не слово, которое обещает, а то невысказанное, что стоит позади слова. Наоборот даже, слова делают обещание менее сильным, так как на них идет частица той силы, которая обещает. Итак, подавайте руку и ничего не говорите – вот лучшее обещание!

282

Обыкновенно непонимаемый. В разговоре замечаешь, как кто-нибудь старается поставить сеть, чтобы попался в нее другой; не из злобы, как можно было бы думать, а просто из удовольствия, из желания насладиться своей ловкостью. Другие же подготовляют остроту, чтобы другой осуществил ее или свертывают петлю, чтобы тот завязал узел не из благодеяния, как можно было бы думать, а из злобы и презрения грубых интеллектов.

283

Центр. Чувство «я центр мира» выступает очень сильно, если вдруг почему-нибудь подавляет тебя стыд. Тогда стоишь, как оглушенный, среди волн и чувствуешь себя ослепленным как бы одним громадным глазом, который со всех сторон смотрит на тебя и сквозь тебя.

284

Свобода речи.«Правду должно высказать, хотя бы от этого разлетелся вдребезги весь мир!» – так громко заявил великий Фихте. – Да! да! но ее надобно иметь! – А он думает, что каждый должен высказать свое мнение, хотя бы из-за этого все пошло вверх дном. Об этом с ним можно спорить!

285

Расположение к страданию. В нашем теперешнем положении мы можем вынести порядочное количество неудовольствий, наш желудок рассчитан на тяжелую пищу: в противном случае обед жизни нам показался бы, может быть, невкусным, и без доброй воли к печалям мы должны были бы вынести *слишком* много радостей!

286

Почитатель. Кто преклоняется так, что распинает не преклоняющегося, тот принадлежит к палачам своей партии, – надо остерегаться давать ему руку, даже если принадлежишь к той же партии.

287

Следствие счастья. Первое следствие счастья есть *чувство власти:* она хочет *обнаружиться* против ли нас самих, или против других людей, или против представлений, или против воображаемых существ. Самые обыкновенные формы, в которых обнаруживается она, суть одарения, насмешки, уничтожения – все три имеют общее основное влечение.

288

Моральные жилища. Те моралисты, у которых исчезает любовь к познанию и которые знают только наслаждение страдания, обладают характером и неповоротливостью провинциалов, они тоже наслаждаются жестоким и печальным удовольствием украдкой следить за соседом и подставить ему иголку, чтобы он укололся об нее. В них осталось уродство маленьких детей, которым доставляет удовольствие мучить живых и мертвых.

289

Причины и их беспричинность. Ты чувствуешь нерасположение к нему и указываешь уважительные причины такого отношения, но я верю только твоему нерасположению, а не этим причинам! Указывая мне разумные причины того, что происходит инстинктивно, ты только ломаешься перед самим собой.

290

Называть что-нибудь хорошим. Брак называют хорошим, во-первых, потому что еще не знают его; во-вторых, потому что к нему привыкли; в-третьих, потому что его заключили. Но этим еще не доказано, что брак хорош.

291

Нет утилитаристов. «Сила и власть, с представлением о которых соединяется много дурного, ценится выше, чем бессилие, которому приписывается только хорошее», – так чувствовали греки. Т. е. чувство власти и силы ценилось ими выше, чем польза и хорошая молва.

292

Казаться безобразным. Умеренность кажется красивой; она не виновата в том, что в глазах неумеренного она кажется угрюмой и сухой, т. е. безобразной.

293

Различия ненависти. Некоторые ненавидят тогда, когда чувствуют себя слабыми и утомленными: в противном случае они бывают справедливы и снисходительны. Другие ненавидят тогда, когда они видят возможность мести: в противном случае они остерегаются всякого тайного и открытого гнева и стараются быть предупредительными, насколько это возможно.

294

Люди случая. Существенную роль в каждом изобретении играет случай, но большинству людей этот случай не встречается.

295

Выбор среды. Надобно остерегаться жить в среде, где нельзя ни достойным образом молчать, ни громко высказываться, так что наши жалобы, потребности и вообще вся история наших нужд остается невысказанной. Тогда бывают недовольны собой и недовольны этой средой; более того, к этой необходимости, которая заставляет нас жаловаться, прибавляется еще досада чувствовать себя постоянно жалующимися. Там надобно жить, где *стыдятся* говорить о себе и где в этом не бывает необходимости. Но кто думает об этом? Кто думает о выборе такой среды для себя? Потому-то и приходится жаловаться на «судьбу» и повторять со вздохом: «Я – несчастный Атлант!»

296

Модничанье. Модничанье есть страх показаться оригинальным, след., недостаток гордости, но не непременно недостаток оригинальности.

297

Преступник. Страдают, как, например, уличенный преступник, не от преступления, но от позора, или от досады за сделанную глупость, или от лишения привычного элемента, и, чтобы отыскать здесь эти оттенки, нужна тонкость, которая редко встречается. Всякий, кому приходилось посещать тюрьмы и исправительные дома, конечно, удивлялся, как редко можно встретить там искреннее «угрызение совести», но зато часто – тоску по старому, излюбленному преступлению.

298

Казаться всегда счастливым. Когда философия была делом публичного соперничества в Греции III в., немало встречалось философов, которые бывали счастливы при мысли, что другие, которые живут по другим принципам и мучатся, должны бы сердиться на них за их счастье. Они думали, что своим счастьем они лучше всего могут возразить своим противникам и для них было достаточно казаться всегда счастливыми; но при этом они должны были *становиться* счастливыми на долгое время! Такова была, например, участь циников.

299

Причина большого невежества. Нравственность увеличивающейся энергии радует и беспокоит; нравственность уменьшающейся энергии – вечером, во время болезни или в старости – заставляет страдать, делает равнодушным, удручает, нередко даже делает мрачным. Кто имеет одну из них, тот не понимает другой и считает ее безнравственностью или слабостью.

300

Возвыситься над своей ничтожностью. Вот, мои гордые друзья, что с целью восстановить чувство своего достоинства и важности постоянно нуждаются в других, над которыми они могли бы проявлять свою власть и силу, – именно в таких, бессилие и трусость которых позволяет, чтобы кто-нибудь безнаказанно выделывал пред ними важные и гневные жесты; следовательно, им нужна ничтожная среда, для того чтобы на минуту возвыситься над своей собственной ничтожностью! Для этого одному нужна собака, другому – Друг, третьему – жена, четвертому – партия, пятому (но это очень редко) – целое поколение людей.

301

Мыслитель любит своего врага. Никогда не скрывай и не замалчивай того, что сможет быть противопоставлено твоей мысли! Обещай себе это! Это – основа честности мысли. Каждый день ты должен совершать поход против самого себя. Победа, одержанная тобою, принадлежит не тебе, а правде, но зато и твое поражение – уже не твое.

302

Злой, сильный. Насилие, как следствие страсти, например гнева, может быть объяснено физиологически в смысле попытки предупредить угрожающий припадок. Оскорбления, которым подвергают других во время вспышек, только отклоняют прилив крови при помощи сильного действия мускулов, и, может быть, насилие вообще можно подвести под эту точку зрения. Злой сильный причиняет другому боль, *не думая* об этом, ибо сила ищет себе исхода, злой слабый *хочет* причинить боль и видеть знаки страдания.

303

К чести специалистов. Всякий раз, как кто-нибудь, не будучи специалистом, хочет произнести приговор, надобно протестовать – будь это мужчина или женщина. Увлечение вещью или человеком – не аргументы; ненависть к ним – точно также.

304

Изменническое порицание. «Он не знает людей!» В устах одного это означает: «он не знает общих свойств человека»; в устах другого – «он не знает исключительных явлений, а общие свойства знает очень хорошо».

305

Цена жертвы. Чем больше государство и короли лишаются права жертвовать индивидуумами, например, в судебных вопросах, в деле отправления воинской повинности и т. д., тем выше подымается ценность самопожертвования.

306

Говорить ясно. Можно говорить ясно, разделяя слова, по различным причинам: во-первых, из недоверия к себе, на новом непривычном языке; во-вторых, из недоверия к другим, вследствие их глупости или непонятливости. Точно так же и в духовном мире: наше сообщение бывает тогда ясно, отчетливо, педантично, когда те, кому мы сообщаем, иначе не поймут нас. Следовательно, совершенный и легкий стиль *допускается только* перед совершенной аудиторией.

307

Много спать. Что делать, чтобы возбудить себя, когда бываешь утомлен и пресыщен самим собою? Один рекомендует игру в банк, другой – электричество. Но лучше всего, мой милый меланхолик, *много спать* в собственном и несобственном смысле! Тогда опять для тебя настанет утро! К области жизненной мудрости принадлежит умение поставить сон туда, где он полезен.

308

Зачем слушаться фантастических идеалов. Там, где у нас есть недостатки, обыкновенно действует фанатизм. Фанатическое положение «любить» придумано было евреями, самыми сильными ненавистниками, какие только были; непорочность восхваляется обыкновенно теми, кто чудовищно распутно провел свою молодость.

309

Вероятное и невероятное. Одна женщина тайно любила одного мужчину, высоко ставила его над собой и втайне говорила себе сотни раз: «Если бы меня любил такой мужчина, это было бы милостью, за которую я преклонялась бы пред ним!» Этот же самый мужчина точно так же относился к этой же самой женщине и втайне сотни раз повторял ту же мысль. Когда, наконец, они оба, в минуту решимости, высказали друг другу сокровенные тайны их сердца, то наступило вдруг молчание: они оба очнулись. Женщина встала и равнодушным тоном произнесла: «Теперь все ясно! мы оба не то, что мы любили! Если ты только то, что ты говоришь, и ничего более, то я напрасно унижалась и любила тебя; демон соблазнил меня так же, как и тебя». Такая очень вероятная история не совершается никогда, – почему?

310

Испытанный совет. Из всех средств утешения ни одно не действует так благодетельно, как утверждение, что для данного случая нет утешения. В этом заключаются такие выгоды для печалящихся, что они снова подымают голову.

311

Знать свою «особенность». Мы легко забываем, что в глазах посторонних людей, которые видят нас в первый раз, являемся совершенно не похожими на то, чем мы считаем самих себя: по крайней мере ничем другим, как бросающейся в глаза особенностью, которая производит известное впечатление. Таким образом, самый кроткий и самый справедливый человек, если только у него длинные усы, будет сочтен, на первый взгляд, обладателем длинного уса, т. е. за военного человека, имеющего бурный характер, а иногда способного и на насилие. Сообразно с этим взглядом и начинают относиться к нему.

312

Садовники и сады. Уединение, нелюдимость заставляют делать заключения, которые появляются вдруг, точно грибы в пасмурную погоду. В одно прекрасное утро мы неожиданно натыкаемся на них и не знаем, откуда они, но видим только, что они белеют и сереют вокруг нас! Горе мыслителю, если он служит почвой, а не садовником своих растений.

313

Комедия сострадания. Когда мы сочувствуем несчастному, мы играем комедию в его присутствии: мы не говорим того, что и как мы думаем; мы так же осторожны в его присутствии, как врачи у постели тяжко больного.

314

Чудаки. Есть малодушные, которые ни во что не ценят свои лучшие дела и поступки и дурно или скептически отзываются об них. Из-за мести они ни во что не ставят сочувствие других и даже не верят в сочувствие: им стыдно показаться увлеченными, и они упорно чувствуют удовольствие от состояния быть смешными.

315

Тщеславие. Мы представляем из себя как бы витрину, в которой мы сами свои мнимые свойства, приписываемые нам другими, постоянно расставляем, прячем, ставим напоказ и этим обманываем самих себя.

316

Пафос и простота. Может быть очень неблагородная привычка – не упускать ни одного случая, где можно показать свой пафос ради наслаждения представить себе при этом зрителя, бьющего в грудь и чувствующего себя маленьким и жалким. Следовательно, смех над патетическим положением может быть признаком благородного.

317

Опыт размышления о браке. Если бы она любила меня, как тягостно было бы для меня долго пробыть с нею. Если бы она не любила меня, как тягостно было бы для меня долго пробыть с нею! Здесь может быть речь только о двух тягостных положениях, – итак, женитесь!

318

Мошенничество с чистой совестью. Быть обмеренным и обвешанным в мелкой торговле в некоторых странах, например в Тироле, неприятно потому, что злое лицо и грубая жадность, отражающаяся на нем, а вместе с тем нечистая совесть и вражда, поднимающаяся к нам у обманщика-продавца, скверно действуют на нас. В Венеции, наоборот, обманщик от всего сердца радуется удавшемуся обману, и в нем не подымается неприятного чувства к обманутому; он даже способен пошутить и посмеяться с ним, если у последнего есть к этому охота. Следовательно, обманывая, надобно иметь хорошее расположение духа и чистую совесть: это почти примиряет обманутого с обманом.

319

Несколько тяжело. Честные люди, которым несколько тяжело быть вежливыми и любезными, стараются отплатить серьезной услугой. Трогательно бывает видеть, как приносят они застенчиво слитки золота за то, за что другие дали бы только позолоченную монету.

320

Скрывать расположение. Если кого-нибудь мы поймаем на том, что он скрывает перед нами свое расположение, то мы называем такого злым, и притом тем более, если мы подозреваем, что его побудили к этому вежливость и обходительность.

321

Злая минута. Живые натуры лгут только одну минуту, потом они обманывают самих себя и становятся убежденными и честными.

322

Условие вежливости. Вежливость – очень хорошая вещь и принадлежит к числу четырех главных добродетелей, хотя и занимает среди них последнее место; но для того, чтобы не быть тягостными друг другу из-за нее, тот, с кем я имею дело, должен быть одной степенью выше или ниже меня в деле вежливости; в противном случае мы не двинемся с места.

323

Опасные добродетели. «Он ничего не забывает, но все прощает». В таком случае его вдвойне ненавидят, потому что он стыдит вдвойне своей памятью и своим великодушием.

324

Без суетности. Страстные люди мало думают о том, что думают о них другие: их состояние возвышает их над суетностью.

325

Созерцание. У одного мыслителя созерцательное состояние, свойственное мыслителю, постоянно следует за состоянием страха; у другого – постоянно за состоянием страсти. Для первого созерцательность соединяется с чувством *безопасности*, для второго – с чувством *удовлетворения*,т. е. первый становится при этом бодр, второй – вял и равнодушен.

326

На охоте. Тот на охоте гоняется за приятными истинами, этот – за неприятными. Но и первый больше удовольствия получает от охоты, чем от добычи.

327

Воспитание. Воспитание – продолжение рождения и часто дополнительная прикраса его.

328

В чем можно узнать пылкого. Из двух лиц, которые борются между собой или любят друг друга, или удивляются друг другу, тот, который более пылок, всегда попадает в более неудобное положение; то же бывает и с двумя народами.

329

Защищаться. Некоторые люди имеют право действовать так-то и так-то; но если они защищаются, об этом уже не думают, – и делают ошибки.

330

Моральная нежность. Есть морально нежные натуры, которые стыдятся при всяком успехе и чувствуют угрызение совести при всяком неуспехе.

331

Чему всего опаснее разучиться? Начинают тем, что разучаются любить других, и кончают тем, что не находят ничего достойного любви и в себе.

332

Тоже терпение. «Подержать одну минутку подольше на горячих углях и поджечь немного – это не повредит ни человеку, ни каштану! Эта маленькая неприятность делает зерно сладким, мягким и возбуждает аппетит». Да! Так судите вы, ищущие наслаждений!

333

Различная гордость. Женщины бледнеют при мысли, что любимый ими человек, может быть, не стоит их; мужчины бледнеют при мысли, что они, может быть, не стоят любимых ими женщин. Я говорю о мужчинах и женщинах вообще. Мужчины, имеющие обыкновенно в себе уверенность и чувство власти, *в состоянии страсти* испытывают стыдливость и сомневаются в себе; женщины, наоборот, чувствующие себя всегда слабыми, готовыми к преданности, *в состоянии страсти* ощущают гордость и чувство власти, как бы спрашивая: кто достоин меня?

334

Кому редко можно удовлетворить. Некоторые бывают способны к чему-нибудь хорошему и великому только после того, как совершат какую-нибудь тяжкую несправедливость: это их нравственность.

335

Роскошь. Склонность к роскоши таится в глубине человека: излишество и неумеренность есть вода, в которой любит купаться его душа.

336

Делать бессмертным. Кто хочет убить своего противника, пусть подумает, не увековечивает ли он его перед собой именно этим самым.

337

Против нашего характера. Если правда, которую мы должны высказать, идет против нашего характера, как это часто случается, – то мы ведем себя так, как будто бы мы лжем, и возбуждаем недоверие.

338

Где причина снисходительности. Некоторые натуры имеют выбор быть только или общественными злодеями, или тайными страдальцами.

339

Болезнь. Под болезнью можно подразумевать: безвременное приближение старости, безобразия и пессимистических взглядов – все это тесно связано между собою.

340

Трусливые. Именно неловкие и трусливые существа легко становятся убийцами: они не понимают легкой, соответствующей целям, защиты или мести; их ненависть, вследствие недостатка присутствия духа и отсутствия характера, не знает никакого другого исхода, кроме уничтожения.

341

Без ненависти. Ты хочешь расстаться со своей страстью? Расставайся с нею, но только без ненависти! Иначе у тебя будет другая страсть.

342

Способный и ограниченный. Он *не способен* ничего ценить, кроме себя самого; и если он будет ценить других, он должен постоянно превращать их сначала в себя. Но на это он *способен.*

343

Частные и общественные обвинители. Всматривайся в того, кто обвиняет и осуждает: он раскрывает при этом свой характер, – и притом нередко характер худший, чем имеет его жертва, чей проступок он преследует. Обвиняющий наивно думает, что всякий, кто преследует преступление и преступника, обладает *eo ipso* хорошим характером или таким, который должен считаться хорошим, и таким образом он *высказывается.*

344

Добровольно слепые. Есть фанатическая, доходящая до внешних выражений, преданность лицу или партии, которая обнаруживает, что мы чувствуем себя подавленными ими, и за это мы сердимся на себя. В наказание за то, что наш глаз слишком много видел, мы добровольно ослепляем себя.

345

Средство от любви. Против любви все еще помогает, в большинстве случаев, старинное радикальное средство – ответ на любовь.

346

Где злейший враг. Кто может хорошо вести свое дело и сознает это, тот, большей частью, примирительно настроен по отношению к своему сопернику. Но мысль и сознание того, что ты не способен отстоять для себя хорошую вещь, настраивают человека неумолимо враждебно к его противнику. Итак, пусть каждый сообразит, где надобно искать его злейшего врага.

347

Границы всякого смирения. Многие дошли до смирения, которое говорит: *credo quia absurdum est,* и отдают свой разум в жертву. Но никто, насколько я знаю, не дошел до такого смирения, которое делает еще один шаг дальше и говорит: *credo, quia absurdus sum* (верю, потому что я глуп).

348

Игра в правду. Есть люди, которые говорят правду не потому, что они гнушаются притворства, но потому, что им не удалось бы обмануть этим других. Короче говоря, они не доверяют своему актерскому таланту и предпочитают быть честными.

349

Смелость в партии. Бедные овцы говорят своему вожаку: «Ты иди только вперед, а у нас не будет недостатка в смелости идти за тобой». А бедный вожак думает про себя: «Вы только идите за мной, а у меня не будет недостатка в смелости вести вас».

350

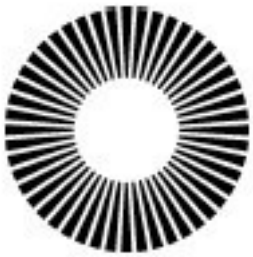
Хитрость жертвенного животного. Есть печальная хитрость, когда хотят обмануться относительно того, кому принесли себя в жертву, и намеренно предлагают ему случай, где он мог бы явиться перед нами таким, каким мы желаем его видеть.

351

Через других. Есть люди, которые хотят, чтобы на них смотрели только сквозь других. Это очень предусмотрительно.

352

Радовать других. Почему доставлять радость другим – выше всякого другого удовольствия? Потому что этим доставляется радость одновременно всем своим страстям. В одиночку радости могут быть очень малы; но когда соберешь их все вместе в одну руку, рука может переполниться; то же и с сердцем.



Книга пятая

Из мира мыслителя

353

В великом молчании. Вот море! Здесь можем мы забыть о городе. Правда, и здесь еще его колокола доносят до нас звуки *Ave Maria,* но это только еще одну минуту! Теперь все молчит! Расстилается бесцветное море – оно не может говорить! Играет небо свою вечную немую вечернюю игру красными, желтыми, зелеными цветами – оно не может говорить! Сбегают в глубину моря каменистые мысы, как бы ища уединения, – они не могут говорить! Эта страшная, вдруг объявшая нас тишина прекрасна, величественна и наполняет чем-то сердце. О! притворство этой немой красоты! Как хорошо могла бы говорить она, и даже зло, если бы захотела! Ее связанный язык и ее счастье на лице – это притворство, чтобы насмеяться над твоим сочувствием! Пускай! Мне не стыдно быть предметом насмешки таких сил. Но я сострадаю тебе, природа, в том, что ты должна молчать, хотя бы тебе и связывала язык твоя злость; да! я сострадаю тебе из-за твоей злости! Вот становится еще тише, и чем-то большим наполняется сердце: оно боится новой правды, оно тоже не может говорить, оно само насмехается, оно само наслаждается сладкой злостью молчания. Мне не хочется не только говорить, но даже думать: должен ли я слушать, как за каждым словом смеется ошибка, воображение, ложь? Не должен ли я смеяться над своим состраданием, над своей насмешкой? О море! о вечер! Плохие вы учителя! Вы учите человека переставать быть человеком! Должен ли он вам отдаться? Должен ли он стать, как вы теперь, бесцветным, блестящим, немым, величественным, покоящимся в самом себе, возвышающимся над самим собою?

354

Для кого существует правда? До сих пор ошибки были *утешительными* силами; теперь того же самого ждут от познанной правды, и ждут уже довольно долго. А что, если правда не может дать утешения? Было бы это доводом против правды? Что общего у нее с состояниями страдающих, печальных, больных людей, чтобы она помогала им? Если растение не служит для исцеления больных людей, это еще не доказательство против *правды* растения. Но прежде существовало убеждение, что человек – цель природы, и без всяких колебаний принимали, что все, что открывается при помощи познания, спасительно и полезно человеку и что даже *не может и не должно быть* ничего другого. Может быть, из всего этого следует положение, что правда, *как независимое и органически целое*, существует только для сильных и спокойных, полных радости и мира душ (каким был, например, Аристотель), и что только такие души в состоянии *искать ее*, тогда как другие ищут только целительных средств для себя, гордясь своим интеллектом и его свободой, но они все-таки ищут не правды. От этого происходит, что эти другие так мало имеют истинной любви к знанию и ставят в упрек ему холодность, сухость, бесчеловечность: это суждение больных об играх здоровых. И греческие боги не умели утешать; когда, наконец, весь греческий народ сделался больным, пали и его боги.

355

Мы низверженные боги! Ошибками о своем происхождении, о своем превосходстве, о своем предназначении и своими претензиями, вытекающими из этих ошибок, человечество поднялось высоко и еще хочет подняться над самим собой; но благодаря тем же самым ошибкам в мир вошло невыразимо много страданий, взаимных гонений, подозрений, непонимания и еще больше несчастий для отдельных личностей. Вследствие своей морали люди сделались страдающими тварями: все, что люди приобрели себе этим, – это чувство, что они слишком хороши и важны для земли и что они живут на ней только временно. «Гордый страдалец» все еще продолжает быть высшим типом человека.

356

Дальтонизм мыслителей. Как иначе смотрели греки на свою природу, если их глаз не умел различать голубого и зеленого; если они вместо «голубой» говорили «темно-бурый», а вместо «зеленый» – «желтый»; если они одним и тем же словом обозначали цвет темных волос, цвет василька и цвет южного моря; и наоборот, – одним и тем же словом обозначали цвет зеленого растения, цвет человеческой кожи, цвет меда и смолы, так что их величайшие художники передавали свой мир только черной, белой, красной и желтой красками. Как иначе и зато насколько ближе к человеку должна была казаться им природа, если краски человека переходили, в их глазах, в краски природы!.. (Голубой и зеленый цвет обесчеловечивают природу больше, чем все другое.) На этом недостатке выросло то легкомыслие, которое составляет отличительную особенность греков: усматривать в явлениях природы своих богов и полубогов, т. е. человекообразные формы. Но это только введение для дальнейшего предположения. Каждый мыслитель рисует свой мир и всякую вещь меньшим количеством красок, чем *есть на самом деле*, и не видит оттенков. Это не только недостаток. При помощи этого приближения и упрощения гармоний красок он *усматривает вещи*, которые имеют большую привлекательность и могут обогатить природу. Может быть, именно таким путем человечество познало впервые наслаждение в картине бытия: благодаря тому, что это его бытие сначала преподносилось ему в одном или двух тонах и человек учился на этих немногих тонах, прежде чем смог перейти ко многим. И теперь еще многие люди развиваются из такого же частичного дальтонизма в более богатое и отчетливое созерцание, но при этом они не только находят новые наслаждения, но *должны,* все-таки *терять* и некоторые из прежних.

357

Украшение науки. Как садовое искусство рококо возникло из чувства, что «природа безобразна, дика, скучна, – давайте ее украсим *(embellir la nature)!»* точно так же из чувства, что «наука безобразна, суха, безотрадна, трудна, долг а – давайте ее украсим!» – возникло нечто, что называется *философией.* Она имеет цель, одинаковую со всеми искусствами и вымыслами, – прежде всего забавлять, но, благодаря своей наследственной гордости, она хочет делать это более возвышенным образом, служить только для избранных умов и создать такое «садовое искусство», главное очарование которого состоит в обмане глаз: представить науку в извлечениях, во всевозможных фантастических и моментальных освещениях, и прибавить к ней столько неопределенности, безрассудства и фантазии, чтобы можно было гулять там, как и среди дикого ландшафта, но только без труда и задержек. Теперь уже начинают раздаваться громкие голоса против философии, требующие «возвращения к науке, к природе, к естествен-

ности науки». Может быть, теперь начинается век, который сумеет открыть могучую красоту в самых «диких, безобразных» углах науки, как Руссо открыл красоту диких гор и пустынь.

358

Два рода моралистов. Впервые подметить, и притом подметить вполне, закон природы, т. е. *доказать* его (например, закон притяжения, отражение света, звука), есть нечто другое и составляет принадлежность совсем других умов, чем *объяснить* такой закон. Так же отличаются и те моралисты, которые усматривают и указывают человеческие законы и обычаи – моралисты с тонкими чувствами слуха, обоняния, зрения – от тех моралистов, которые объясняют подмеченное. Эти последние должны быть прежде всего *изобретательны* и иметь фантазию, проницательность и знание которой дали возможность действовать.

359

Новая страсть. Почему мы боимся возможного возвращения к варварству и ненавидим это? Потому что возвращение к варварству может сделать людей несчастнее, чем они есть? Ах, нет! Все варвары постоянно были счастливее: не будем обманывать себя в этом! Но наша страсть к познанию слишком сильна, для того чтобы мы могли ценить еще счастье без познания или счастье сильного заблуждения! Беспокойство открытия и разгадывания сделалось до того привлекательным и необходимым для нас, как безнадежная любовь для влюбленного, которую он не отдаст ни за какую цену ради состояния спокойствия, – да, может быть, – мы тоже безнадежно влюбленные! Познание обратилось у нас в страсть, которая не останавливается ни перед никакой жертвой, и, в сущности, ничего не боится, кроме своей гибели. Мы веруем чистосердечно, что все человечество под напором *этой страсти* надеется стать возвышеннее и увереннее, чем теперь, когда оно не одолело еще склонности к грубым удовольствиям, идущим в свите варварства. Может быть даже, что человечество погибнет от этой страсти! – и даже такая мысль не пугает нас! Любовь и смерть не сестры ли друг другу? Да! Мы ненавидим варварство, мы все скорее согласимся погибнуть, чем отказаться от познания! И, наконец, – если человечество не погибнет в *страсти*, оно погибнет в *слабости.* Что же лучше? Вот вопрос! Предпочтем ли мы иметь конец в огне и свете или в тине?

360

Тоже геройски. Заниматься работой, о которой стыдятся говорить, но которая необходима и полезна, тоже геройство. Греки не постыдились поместить среди великих подвигов Геракла также и очищение конюшен.

361

Мнения противников. Для того чтобы измерить, насколько тощи и слабы по природе бывают иногда даже самые рассудительные головы, надобно обратить внимание на то, как они понимают мнения противников и как они возражают на них; в этом обнаруживается естественная мерка каждого интеллекта. Совершенный мудрец, без всякого желания со своей стороны, возвышает своего противника до идеала и с уважением относится к его возражениям, и только тогда, когда противник его становится божеством со сверкающим оружием, он вступает с ним в борьбу.

362

Исследователи и испытатели. Нет единого всеобщего метода познания! Мы должны, руководясь опытом, обращаться с людьми различным образом: быть с ними то добрыми, то злыми, относиться к ним справедливо, страстно или холодно. Один говорит с людьми, как полицейский, другой – как духовник, третий – как путешественник и любитель новостей. То симпатией, то насилием приходится вырывать у них что-нибудь: одному помогает в успехе благоговение пред их тайнами, другому – наоборот, болтливость. Мы, исследователи, так же, как все завоеватели, изобретатели, мореплаватели, искатели приключений, должны обладать отважной моралью и не бояться, если прослывем злыми.

363

Смотреть новыми глазами. Если под красотой в искусстве надобно постоянно понимать воспроизведение *счастливого*, – и я считаю это верным, – смотря как представляет себе счастье народ, время, индивидуум, что же в таком случае позволяет знать о счастье нашего времени реализм теперешних художников? Несомненно, *его* красоту, которую теперь мы легче всего можем понять и которой можем насладиться. Итак, можно ли думать, что теперешнее свойственное *нам* счастье заключается в *реалистическом*, в возможно острых чувствах и в верном понимании действительности, т. е. не в реальности, а в *знании реальности?* Наука оказала уже такое сильное действие, что художники нашего столетия непроизвольно превратились в восхвалителей научного счастья!

364

Ходатайствовать. Невзыскательные ландшафты – для великих художников, а замечательные и редкие – для маленьких. Именно великие явления природы и человечества должны ходатайствовать за всех: за маленьких, средних и честолюбивых своих почитателей, – а *великий* ходатайствует за *незаметные* явления.

365

Погибать не незамеченным. Не временами, а постоянно крошится наша сила и величие; маленькое растеньице, умеющее прицепиться всюду, разрушает то, что есть великого в нас. Это ежедневное, ежечасное, оставляемое нами без внимания жалкое положение окружающей нас среды, тысяча корешков того или другого маленького и малодушного чувства, вырастающие из нашего соседства, из нашей должности, нашего общества, нашего распределения времени. Оставим эти ничтожные плевелы без внимания – и мы погибнем от них незаметно! А если вы хотите погибнуть, то сделайте это лучше разом и мгновенно: тогда от вас останутся, может быть, величественные развалины, а не кучи земли, как у кротовых нор!

366

Казуистика. Есть горькая и злая альтернатива, которую не может преодолеть ничья решимость и ничей характер. Когда пассажир корабля открывает, что капитан и кормчий делают опасные ошибки и что он выше их в искусстве управления кораблем, спрашивается: а что если восстановить весь корабль против них и арестовать их обоих? Не обязан ли ты сделать это в силу своего превосходства перед ними? И, с другой стороны, не вправе ли они

арестовать тебя за то, что ты подрываешь доверие к ним? Это может служить сравнением для явлений в более высоких сферах, могущих иметь более вредные последствия. При этом можно поставить такой вопрос: чем дается нам, в подобных случаях, наше превосходство, наша вера в самих себя? Успехом? В таком случае надобно бы *делать* все, хотя бы в этом заключались всякие опасности, – и не только для нас самих, но и для всего корабля!

367

Преимущества. Кто действительно владеет собой, т. е. кто окончательно *завоевал* самого себя, тот имеет свое преимущество в том, чтобы наказывать себя, миловать себя, сострадать себе. Ему нет надобности предоставлять это кому-нибудь другому, но он вполне свободен отдать это и тому, кому захочет, например другу, но при этом он знает, что он *дает* ему *право*, а давать право может только тот, кто обладает *властью и силой.*

368

Человек и сущее. Почему человек не видит сущего? Он сам стоит на дороге и закрывает собой сущее.

369

Не отказываться! Отказываться от мира, не зная его, как это делается иногда, значит обречь себя на бесплодное и унылое одиночество. В этом нет ничего общего с уединением созерцательной жизни мыслителя. Если мыслитель избирает себе такую жизнь, он никогда не откажется от нее: отказ от нее и участие в практической жизни принес бы ему уныние и равнялся бы его гибели. Он никогда не откажется от созерцательной жизни, потому что он знает ее и знает себя. Он стремится в *свой* воздух, ищет *радости* себе.

370

Почему ближайшее становится все дальше от нас? Чем больше мы думаем о том, что было и будет, тем более бледнеет пред нами то, что есть теперь. Если мы живем с умершими и умираем в их смерти, что же такое для нас «ближние»? Наше одиночество тогда становится еще большим, и именно потому, что вокруг нас шумит все течение человечества. Страстность, которая присуща всему человеческому, все более и более усиливается в нас, – и именно *вследствие этого* нам кажется, что все окружающее нас как будто бы стало более равнодушным и слабым.

371

Правило. «Правило для меня всегда интереснее, чем исключение», – кто так чувствует, тот далеко ушел в познании и принадлежит к числу «посвященных».

372

Воспитание. Мало-помалу мне стал ясен общий недостаток способов нашего образования и воспитания: никто не учится, никто не стремится, никто не учит *переносить одиночество.*

373

Удивляться возражению. Так как *это* сделалось ясным для нас (так думаем мы), то нам нечего бояться противодействий с этой стороны, и мы изумляемся тому, что видеть все ясно мы можем и, однако, не можем быть в безопасности! Это та же глупость и то же удивление, в каких оказывается муха пред оконным стеклом.

374

В каких расчетах ошибаются самые благородные. Дают кому-нибудь все свое самое лучшее, самое драгоценное, – теперь любовь уже не может ничего больше дать, но тот, кто принимает это, не считает это, конечно, *своим* лучшим, и, следовательно, у него нет той полной признательности, на которую рассчитывает дающий.

375

Табель о рангах. Во-первых, есть поверхностные мыслители; во-вторых, есть глубокие мыслители, те, которые стараются проникнуть в глубину вещи; в-треть-их, есть основательные мыслители, которые стараются дойти до основы вещи, а это гораздо важнее, чем спускаться только до их глубины; наконец, есть такие мыслители, которые суют голову в трясину, где нет ни глубины, ни основания!

376

Учитель и ученик. К гуманности учителя принадлежит предостерегать ученика от себя самого.

377

Уважать действительность. Можно ли смотреть без слез и без сочувствия на эту ликующую народную толпу? Прежде мы невысоко ставили предмет их ликования, и теперь мы думали бы еще так, если бы не пережили сами этого! До чего же, следовательно, может довести нас опыт! Что же такое наши мнения! Чтобы не затеряться, чтобы не потерять своего *разума* надобно бежать от опыта! Так бежал Платон от действительности и хотел все сущее созерцать в бледных представлениях; он был полон ощущения и знал, как легко волны ощущения поглощают рассудок. Поэтому мудрец должен ли был сказать себе: «я хочу уважать *действительность*, но при этом повернусь к ней спиной, *потому что* я знаю ее и боюсь ее»? Должен ли был он обращаться с действительностью, как африканские народы обращаются со своими князьями, приближаясь к ним задом и, в то же время, страхом обнаруживая свое уважение к ним?

378

Где нищие духом? Ах! как мне противно *навязывать* другому свои мысли. Как радуюсь я, когда соглашаюсь с мыслями других! Но иногда случается еще больший праздник, когда бывает *возможно предоставлять* в пользование другим свой духовный дом и дар, подобно духовнику, который сидит в углу, ожидая, когда придет нуждающийся в нем человек и расскажет ему о нуждах своих мыслей для того, чтобы он подал ему руку и *облегчил* его беспокойную душу! Он не только не хочет благодарности, он, может быть, убежал бы от нее, потому что она навязчива и не боится уединения и тишины. Он хочет жить без имени или даже преследуемый

насмешками, по возможности незаметным, чтобы не возбуждать зависти и вражды, с холодной головой, но полный знания и опыта, подобно духовному врачу для бедных, который помогает то тому, то другому, чью голову *расстроили мысли,* и который даже не замечает, кто помог ему! Не заявлять свое право перед ним и не торжествовать перед ним свою победу, но сказать ему «да» или «нет» так, чтобы он не заметил этого, считал себя независимым в определении правды и гордо пошел вперед. Быть как бы маленьким постоялым двором, который не отказывает никому, кто нуждается в нем, и который потом забывается или служит предметом насмешек! Не захватывать себе раньше других ни лучшей пищи, ни более чистого воздуха, ни более приятного настроения, а отдавать, возвращать, делиться, становиться беднее! Быть низким, чтобы быть доступным всему и никому не быть в тягость! Любовь и вместе с тем самолюбие и самонаслаждение! Власть и вместе тем самоотречение! Лежать постоянно на солнце и знать, что кругом все растет, подымается! Вот это была бы жизнь! Тогда стоило бы жить!

379

Соблазн познания. На страстные умы один взгляд сквозь врата науки действует так сильно, точно чары всех чар, – и они становятся фантазерами, в лучших случаях – поэтами. Так сильна в человеке жажда счастья познающего!

380

Кому нужен придворный шут? Очень красивые, очень хорошие, очень могущественные почти никогда не знают полной и всем известной правды о чем-нибудь, потому что в их присутствии непроизвольно немного лгут, чувствуя их влияние, и то, что можно было бы сообщить правдиво, сообщается *применительно* к их влиянию, т. е. в иной форме, в иной окраске; подробности опускаются или выдумываются, а многое вовсе умалчивается. Если же эти люди захотят слышать непременно правду, то они вынуждены бывают держать *придворных шутов*, которые, пользуясь преимуществом глупого, не подделываются к обстоятельствам.

381

Нетерпение. Есть степень нетерпения у человека дела и мысли, который, в случае неудачи, тотчас же направляет свои дела и мысли в другую область, на другие страсти и предприятия, до тех пор, пока и там не изменит ему успех. Так блуждают они, ища приключений, встречаясь со всевозможным практическим, со всевозможными людьми и характерами, пока, наконец, их знание людей и мира, приобретенное ими в их блужданиях, и некоторая умеренность их страсти сделают из них великих практиков. Таким образом, недостатки в характере становятся школой гения.

382

Моральное междуцарствие. Кто мог бы теперь описать то, что некогда *сменит* наши моральные чувства и суждения! Теперь можно уже с уверенностью сказать, что у этих последних неверно заложен фундамент и что их не стоит и нельзя ремонтировать: обязательность их должна падать со дня на день, если не будет падать обязательность разума! Создать новые законы жизни и отношений людей между собою, – для такой задачи чувствуют себя еще бессильными наши науки: физиология, медицина, социология; из них можно взять краеугольные камни для новых идеалов, но не самые идеалы. Итак, мы живем в *переходное* время, или во

время междуцарствия, и лучше всего поступим, если будем господами самим себе и будем делать маленькие *пробы.* Мы делаем опыты над собой; долго ли мы будем делать их?

383

Отступление. Наша книга не для чтения, а для справок во время прогулок и путешествий: всюду, куда ни посмотришь вокруг себя, находишь новое, непривычное для глаза.

384

Первая натура. При том воспитании, какое мы получаем теперь, мы имеем только *вторую природу*, и мы имеем ее, если общество называет нас созревшими, возмужалыми, сильными. Немного среди нас оказывается таких змей, которые в один прекрасный день сбросят с себя эту кожу; разумеется, в том случае, если под этой оболочкой созреет *первая природа. У* большинства же это зерно высыхает.

385

Развивающаяся добродетель. Такие уверения и обещания, как уверения античных философов о связи добродетели и счастья, никогда не произносятся абсолютно честно, и, однако, постоянно с чистой совестью: выставляли такие положения, правды которых очень желали, и притом желали дерзко, вопреки очевидности, не чувствуя ни морального, ни религиозного угрызения совести, ибо действительность презиралась in honorem maiorem добродетели и при этом не имелось в виду никаких эгоистических целей. На такой ступени любви к правде стоят еще многие храбрые люди. Если они *чувствуют* в себе отсутствие эгоизма, то они признают себя вправе легче смотреть на правду. Однако можно заметить, что ни между сократовскими, ни между религиозными добродетелями нет добродетели *честности*, эта добродетель сравнительно новая, еще мало созревшая, неустойчивая, мало известная, едва сознающая себя, нечто еще развивающееся, расцвету которой мы можем содействовать или мешать в зависимости от нашего характера.

386

Великий жребий. Очень редкое, но и увлекательное явление – человек с хорошо развитым интеллектом, у которого характер, склонности и даже *опытность* принадлежат такому интеллекту.

387

Великодушие мыслителя. Руссо и Шопенгауэр – оба были настолько горды, что объявили за своей жизнью призвание *vitam impendere vero.* И сколько, вероятно, страдали они в своей гордости из-за того, что им не удалось *verum impendere vitae! – verum* как каждый из них понимал это, что их жизнь и их познание текли рядом друг с другом, не желая, как капризный бас, слиться в одну мелодию. Но плохо было бы познание, если бы каждый мыслитель выкраивал его по мерке только своего тела. И плохи были бы мыслители, если бы они имели столько тщеславия, что считали бы только себя способными к познанию. В том именно и состоит самая красивая добродетель великого мыслителя – великодушие, – чтобы он как познающий приносил в жертву себя самого и свою жизнь смело, часто скромно, а часто и с возвышенной насмешкой и улыбкой.

388

Польза опасности. Познают человека и положение совершенно иначе тогда, когда каждое их движение грозит опасностью имуществу, чести, жизни, и нашей и наших близких. Так, например, Тиберий глубже размышлял о характере императора Августа и его правления и, разумеется, знал об этом больше, чем это возможно было бы самому мудрому историку. Мы все живем теперь сравнительно в гораздо большей безопасности, так что не можем быть хорошими знатоками людей: один их познает из страсти, другой – от скуки, третий – по привычке; теперь не встречается положения «познай или погибни!» До тех пор пока истины не врежутся нам в мясо ножом, мы втайне позволяем себе мало ценить их: они кажутся нам похожими на «окрыленные сны», которые мы могли бы иметь и не иметь, как будто бы они находились отчасти в нашей власти, как будто бы мы могли *пробудиться* и от этих наших истин.

389

Hic Rhoduc, hie salta! Наша музыка может и должна превращаться во все, потому что она, как демон моря, не имеет сама по себе никакого характера; музыка сопутствовала некогда *христианскому* ученому и могла перевести его идеал в звуки. Почему бы не найти ей и тех светлых, радостных звуков, которые соответствуют *идеальному мыслителю?* Звуков, которые чувствовали бы себя как дома в безбрежных, колеблющихся волнах его души? Наша музыка до сих пор была так велика, так хороша, для нее не было ничего невозможного! Так пусть же покажет она, что возможно чувствовать одновременно величие, глубокий и теплый свет и отраду самой высокой последовательности!

390

Медленное лечение. Хронические болезни души, как и хронические болезни тела, только очень редко происходят от единовременных грубых ошибок против разума тела и души, но обыкновенно от многократных, незаметных, маленьких упущений. Кто, например, изо дня в день дышит слишком слабо и до чьих легких доходит слишком мало воздуха, тот получает, в конце концов, хроническую болезнь легких. В таком случае невозможно получить исцеления никаким другим путем, как только бесчисленными маленькими упражнениями противоположными тем, которые причинили болезнь, например, в указанном случае – дышать сильно и глубоко через каждые четверть часа. *Медленны* и скрупулезны такие лечения! Также тот, кто хочет спасти свою душу, должен подумать о перемене самых мелочных своих привычек. Многие десяток раз на дню говорят злое, холодное слово окружающим их и не думают при этом, что через несколько лет они создадут себе закон привычки, который будет заставлять их, по десяти раз в день, оскорблять окружающих. Но они могли бы также привыкнуть и к тому, чтобы десяток раз в день делать им добро!

391

Стыд дающего. Так невеликодушно давать или дарить и выставлять это себе в заслугу! Но давать и дарить и скрывать свое имя и свое расположение! Или не иметь никакого имени, как природа, в которой нам и нравится именно то, что здесь нельзя встретиться с «дающим» или «дарящим» и с «милостивым взглядом».

392

При встрече. Куда ты смотришь? Ты так долго неподвижно стоишь на одном месте. На вечно новое и вечно старое! Беспомощное положение жизни так далеко и так глубоко увлекает меня в себя, что я, наконец, дохожу до ее основы и вижу, что она вовсе не так ценна. В конце всех этих жизненных опытов стоит печаль и онемение. Это переживаю я каждый день по нескольку раз.

393

Дважды терпение! «Этим ты причиняешь боль многим людям». Я знаю; знаю также и то, что мне приходится вдвойне страдать за это: один раз из сострадания к их страданию, а другой раз – от их мести мне. Но, несмотря на это, все-таки необходимо делать так, как делаю я.

394

Царство красоты больше. Как мы блуждаем в природе с целью открыть красоту и пытаемся то при солнечном свете, то при грозовом небе, то при бледных сумерках посмотреть берег со скалами, бухтами, соснами – тогда, когда он бывает совершенно и художественно красив, так следовало бы нам блуждать и между людьми, ища между ними добро и зло, чтобы открыть свойственную им красоту, которая у одного блестит при солнечном свете, у другого – во время грозы, у третьего – только в полуночи. Разве невозможно *наслаждаться* злым человеком, как диким ландшафтом, который имеет своеобразные линии и игру света и тени; если тот же самый человек, когда он показывает себя добрым или справедливым, представляется нам карикатурой и уродством и становится неприятным нам, точно пятно на природе? Да, это невозможно! До сих пор дозволялось только искать красоты в *морально хорошем* – вполне понятная причина, почему приходилось находить так мало; и искать так много воображаемой красоты без плоти и костей! У злых есть сотни видов счастья, о которых добродетельные не имеют никакого представления, – также есть у них и сотни видов красоты, из которых многие еще не открыты.

395

Бесчеловечность мудреца. От мудреца, с его тяжелым, всесокрушающим ходом мысли, от мудреца, который, по словам буддийской песни, «бродит одиноко, как носорог», требуются время от времени признаки примирительной и кроткой человечности; требуются не только та более быстрая походка, кротость и общительность духа, не только остроумие и некоторый скептицизм по отношению к самому себе, но также и противоречия и по временам участие в господствующей нелепице. Чтобы не быть похожим на колесо, которое катится, как судьба, мудрец, желающий учить, должен употреблять свои ошибки на то, чтобы приукрасить себя, и, говоря: «презирайте меня!» – он должен просить о милости быть ходатаем за истину. Он поведет вас в горы, он, может быть, будет опасен для вашей жизни: за это он охотно предоставляет вам отмщать такому предводителю, – вот цена, которой он покупает себе удовольствие *идти впереди.* Вспомните о том, что чувствовали вы, когда он вел вас чрез мрачную пещеру опасной дорогой. Как билось ваше сердце и с досадой говорило себе: «Этот руководитель мог бы сделать что-нибудь лучшее, чем ползать здесь! Он носит на себе печать жадных до новизны тунеядцев, – и уж не много ли чести оказываем мы ему, что придаем ему некоторое значение, *следуя за* ним»?

396

На пиру многих. Как бываешь счастлив, когда питаешься так, как птицы, из руки кого-нибудь, кто бросает семя птицам, не обращая большого внимания на них самих и на их достоинство! Жить, как птица, которая прилетает и улетает и ничьего имени не носит в клюве! Насыщаться на пиру многих – мое удовольствие.

397

Другая любовь к ближнему. Возбужденное, шумное, беспокойное, нервное существо составляет противоположность *великой страсти:* эта последняя, живя в глубине души, как спокойный сильный огонь, притягивая к себе все теплое и горячее, заставляет человека смотреть на внешний мир холодно и равнодушно и налагает на характер человека некоторое бесстрашие. Такие люди способны, правда, *любить ближнего*, но эта их любовь совсем иного рода, чем любовь людей общительных и желающих нравиться: это кроткая, рассудительная, спокойная дружба. Они смотрят как бы из окна своего замка, который играет роль их крепости, и именно в силу этого – их тюрьмы: взгляд на свободное пространство, лежащее вне их тюрьмы, взгляд *на других* им приятен!

398

Не оправдываться. – А: Но почему же ты не хочешь оправдаться? – В: Я мог бы оправдаться и в этом, и в сотне других вещей, но я презираю удовольствие, которое испытывается при оправдании: эти вещи для меня не очень важны, и я охотнее буду носить на себе их пятна, чем доставлю этим ничтожествам злобную радость, позволив им сказать обо мне: «Однако он считает эти вещи очень важными для себя!» Но это решительно неправда! Может быть, поэтому я должен был бы еще больше возложить на себя обязанность исправлять неверные представления о себе: я слишком неподвижен и равнодушен к себе самому и к тому, что совершается мною.

399

Где надобно строить свой дом? Если ты чувствуешь себя великим и плодотворным в уединении, то общество сделает тебя мелким и непроизводительным, и наоборот. Могуча нежность отца – и где охватывает тебя такое расположение, там и строй свой дом – будь то в тесноте или в уединении. *Ubi pater sum, ibi patria.*

400

Становиться тяжелым. Вы не знаете его: он может повесить на себя большую тяжесть; он берет ее, однако, всю с собою на высоту. А вы по вашим слабым взмахам крыльев заключаете, что он хочет остаться *внизу и потому* вешает на себя всю тяжесть.

401

Праздник жатвы духа. Со дня на день накапливаются и бьют ключом изобилия опыты, факты и мысли о них, и мечты об этих мыслях – неизмеримое, привлекательное богатство! Такое громадное богатство, что от одного взгляда на него кружится голова! Но я завидую иногда нищему духом, когда я бываю утомлен: ибо *управление* таким богатством – трудная вещь,

и эта трудность нередко губит все счастье. Да! если бы достаточно было только смотреть на него! Если бы возможно было быть только скрягой своего знания!

402

Освобожденный от скептицизма. «Некоторые выходят из общего морального скептицизма в дурном расположении духа, слабыми, разбитыми, как бы источенными, полусъеденными червями, а я становлюсь бодрее, здоровее, чем когда-нибудь, с возрожденными инстинктами. Чем сильнее ветер, тем выше море; чем грознее опасность, тем лучше я чувствую себя. Червем я не сделался, хотя некогда я копал и рыл, как червь». —

В: Ты *перестал* быть скептиком! Ты *отрицаешь!* – А: И этим я снова научился *говорить «да».*

403

Мимо! Пощадите его! Оставьте его в его уединении! Неужели вы хотите совсем разбить его? Он получил трещину, как стакан, в который налили горячей воды, – а он был такой дорогой стакан!

404

Любовь и действительность! Из любви мы бываем ловкими преступниками в правде и привычными ворами и укрывателями и стараемся верить в истинность того, в чем сомневаемся. Поэтому мыслитель должен постоянно обращать в бегство тех лиц, которых он любит (а это обычно бывают те лица, которые его не любят), для того чтобы они показали ему свое жало и свою злость и таким образом перестали *увлекать* tго. Следовательно, благо мыслителя будет иметь свои лунные фазы.

405

Неизбежное. Переживайте, что хотите: кто не желает вам добра, тот видит в переживаемом вами повод умалить вас! Если даже вы испытаете самые глубокие перемены чувства и познания и выйдете, наконец, как выздоравливающий, с болезненной улыбкой на свободу, найдется человек, который скажет: «Вот он считает свою болезнь аргументом, свое бессилие – доказательством бессилия всех, ему приятно становиться больным, чтобы чувствовать преимущество страдающего». Если кто-нибудь срывает с себя оковы и сильно поранит себя, то другой с насмешкой укажет на него: «Как он неловок! Так и должно быть со всяким, кто привык к своим оковам и по глупости срывает их!»

406

Два немца. Если сравнить Канта и Шопенгауэра с Платоном, Спинозой, Паскалем, Руссо, Гете, соотнеся их души, а не ум, то первым двоим это невыгодно: их мысли не составляют истории их души, там не увидишь ни романа, ни кризиса, ни катастрофы, ни смертного часа; их мышление не составляет в то же время и непроизвольной биографии их души, но разум – у Канта, а у Шопенгауэра – описание и отражение характера. Кант, насколько можно видеть его сквозь его мысли, является добрым и честным в лучшем смысле этого слова, но незначительным: ему недостает широты и силы, он не много пережил, его прием работать отнимал у него *время* пережить что-нибудь. Я подразумеваю, конечно, не те грубые внешние «опыты»,

но припадки и те конвульсии, которым подвержена даже самая уединенная и самая спокойная жизнь, имеющая досуг и горящая в страсти мышления. Шопенгауэр стоит все-таки несколько выше него, он одержим, по крайней мере, некоторым *безобразием* природы – ненавистью, алчностью, тщеславием, недоверием; он дик, и у него есть время и удобные моменты приложить к делу свою дикость. Но ему недоставало «развития», которого не было и в его мировоззрении: он не имел «истории».

407

Искать свою среду. Слишком ли многого мы ищем, если сводим знакомства с людьми, которые так кротки, приятны и полезны, как вкусны и питательны делаются каштаны, если их вовремя положить в огонь и вовремя вынуть из огня? Кто немногого ожидает, да и это, вдобавок, принимает как подарок, а не как заслуженное, как будто бы принесли им это птицы или пчелы? Кто настолько горд, чтобы смотреть на это как на вознаграждение? И кто настолько серьезен в своей страсти познавания и честности, что не имеет времени для славы и удовольствия в ней? Таких людей мы назвали бы философами.

408

Недовольство человеком. – А: Познавай! Да! Но всегда как человек! Как? Сидеть постоянно все пред одной и той же комедией, играть постоянно одну и ту же комедию? Никогда не смотреть на вещи *другими* глазами? И как бесчисленны ни были бы виды существ, органы которых лучше годятся для познавания! Что же познает человечество в конце всего своего познавания? Свои органы! А это равняется, может быть, невозможности познавания! Больно и отвратительно! – В: Это скверный припадок: тебя обуревает *разум.* Но завтра ты опять начнешь познавать и опять окажешься в среде неразумия, т. е. опять полюбишь человеческое!

409

Собственная дорога. Если мы делаем решительный шаг и вступаем на путь, который называют «своей дорогой», то перед нами мгновенно раскрывается тайна: все, кто был дружен с нами, кто доверял нам, – все они воображали себе, что имеют превосходство над нами, и оскорбляются. Самые лучшие из них ведут себя снисходительно и терпеливо ждут, когда мы опять вступим на «правильный путь», а правильный путь знают они! Другие смеются и ведут себя так, как будто мы временно делаем глупость и лукаво указывают соблазнителя. Более злые считают нас заносчивыми дураками и стараются очернить наши мотивы, а худшие видят в нас злейших врагов, жаждущих мстить нам за свою долгую зависимость, и боятся нас. Как же быть? Вот мой совет: начать свою самостоятельность тем, чтобы обещать, за год вперед, всем нашим знакомым амнистию за все их прегрешения.

410

Далекие перспективы. – А: Но к чему это уединение? – В: Я ни на кого не сержусь. Но мне кажется, что из уединения мне отчетливее и красивее представляются мои друзья, чем когда я бываю вместе с ними. И когда я сильнее всего любил и чувствовал музыку, я жил вдали от нее. Кажется, мне нужна далекая перспектива для того, чтобы хорошо думать о вещах.

411

Золото и голод. Там и сям встречаются люди, которые превращают в золото все, к чему имеют отношение. В один прекрасный день они откроют, что сами они должны голодать при этом. Вокруг них все блестит, все превосходно, все идеально недоступно, а они ищут вещь, которую *им невозможно* было бы *превратить* в золото, и с какой тоской ищут они ее! Точно голодный ищет пищи! За что хватиться им?

412

Стыд. Вот стоит горячий конь и бьет копытом землю; он ржет, он хочет скакать, он любит того, кто ездит на нем, – но о! позор! сегодня он не может вскочить на него, он устал. Таков позор утомившегося мыслителя пред его философией.

413

Против расточительной любви. Не краснеем ли мы, поймав себя на страстном нерасположении? Но это должно бы случаться с нами и при страстной склонности, вследствие той несправедливости, которая заключается в ней! Да, еще больше! Есть люди, которые чувствуют себя стесненными и связанными, если кто-нибудь выказывает им свою любовь лишь настолько, сколько он отнимает ее у других. А если скажут нам еще, что мы избранные, что *нас* предпочитают! Ах! я не могу быть благодарным за такое избрание, я замечаю, что питаю зло к тому, который хочет так отличить меня: он не должен любить меня *за счет* других! Не надобно быть в тягость никому, и не следует отнимать то, в чем нуждаются другие.

414

Друзья в нужде. Иногда мы замечаем, что кто-нибудь из наших друзей больше принадлежит другому, чем нам, что его деликатность мучится при этом решении и что его самолюбие не способно на это решение. Тогда мы должны сделать ему облегчение и *освободить* его от себя. Это же мы должны сделать и тогда, когда мы усваиваем такой образ мыслей, какой был бы вреден для него. Наша любовь к нему должна побудить нас хотя бы с помощью несправедливости сделать так, чтобы он с чистой совестью разошелся с нами.

415

Эти маленькие истины! «Вы знаете все это, но вы никогда не испытывали этого, и я вашего свидетельства не принимаю! Эти “маленькие истины”,, они кажутся вам маленькими, потому что вы купили их не своею кровью!» – Но разве они бывают великими потому, что заплатят за них *очень дорого?* А кровь всегда очень дорога! – «Вы думаете? Как дорожите вы кровью»!

416

Потому и уединение! – А: Так ты опять идешь в свою пустыню? – В: Среди многих я живу, как многие, и мыслю не так, как я; спустя некоторое время я чувствую, что как будто бы хотят изгнать меня из меня самого и похитить мою душу, и я становлюсь зол на каждого и боюсь каждого. Пустыня мне необходима, чтобы снова сделаться добрым.

417

Под южным ветром. – А: Я больше не понимаю себя. Еще вчера во мне было так бурно, но зато так тепло, так светло! А сегодня все спокойно, широко, грустно, мрачно, как лагуны Венеции; я ничего не хочу, я дышу глубоко и, однако, внутри у меня такая досада на это «ничего не хочу», так плещутся волны туда и сюда в море моей меланхолии. – В: Ты описываешь маленькую приятную болезнь. Ближайший норд-ост исцелит тебя от нее! – А: Почему же!

418

На собственном дереве. – А: Ни у одного мыслителя я не нахожу в мыслях столько для меня удовольствия, как в своих собственных; конечно, это ничего не говорит об их ценности, но я был бы дураком, если бы я пренебрег вкуснейшими для меня плодами из-за того, что они случайно растут на моем дереве. И однажды я был таким дураком. – В: Другие наоборот, но это тоже ничего не говорит о ценности их мыслей, вернее – против их ценности.

419

Последний аргумент храброго. – «В этом кустарнике змеи». – «Хорошо! Я пойду и перебью их». – «А если ты сделаешься их жертвой, а не они твоей?» – «Что ж!»

420

Наши учителя. В юности берут себе учителей и руководителей из современных и из того круга, с которым сталкиваются. Мы имеем бессознательную уверенность в том, что современность должна иметь учителей, которые для нас более пригодны, чем для всякого другого, и что мы должны найти их без больших затруднений. За это ребячество приходится рассчитываться позднее большими выкупными деньгами: *приходится на себе нести наказание за своих учителей.* Тогда начинают искать настоящих руководителей кругом во всем мире, в том числе и в минувшем, но бывает уже поздно. И, что хуже всего, мы узнаем, что они жили в то время, когда мы были молоды, и что мы тогда ошиблись.

421

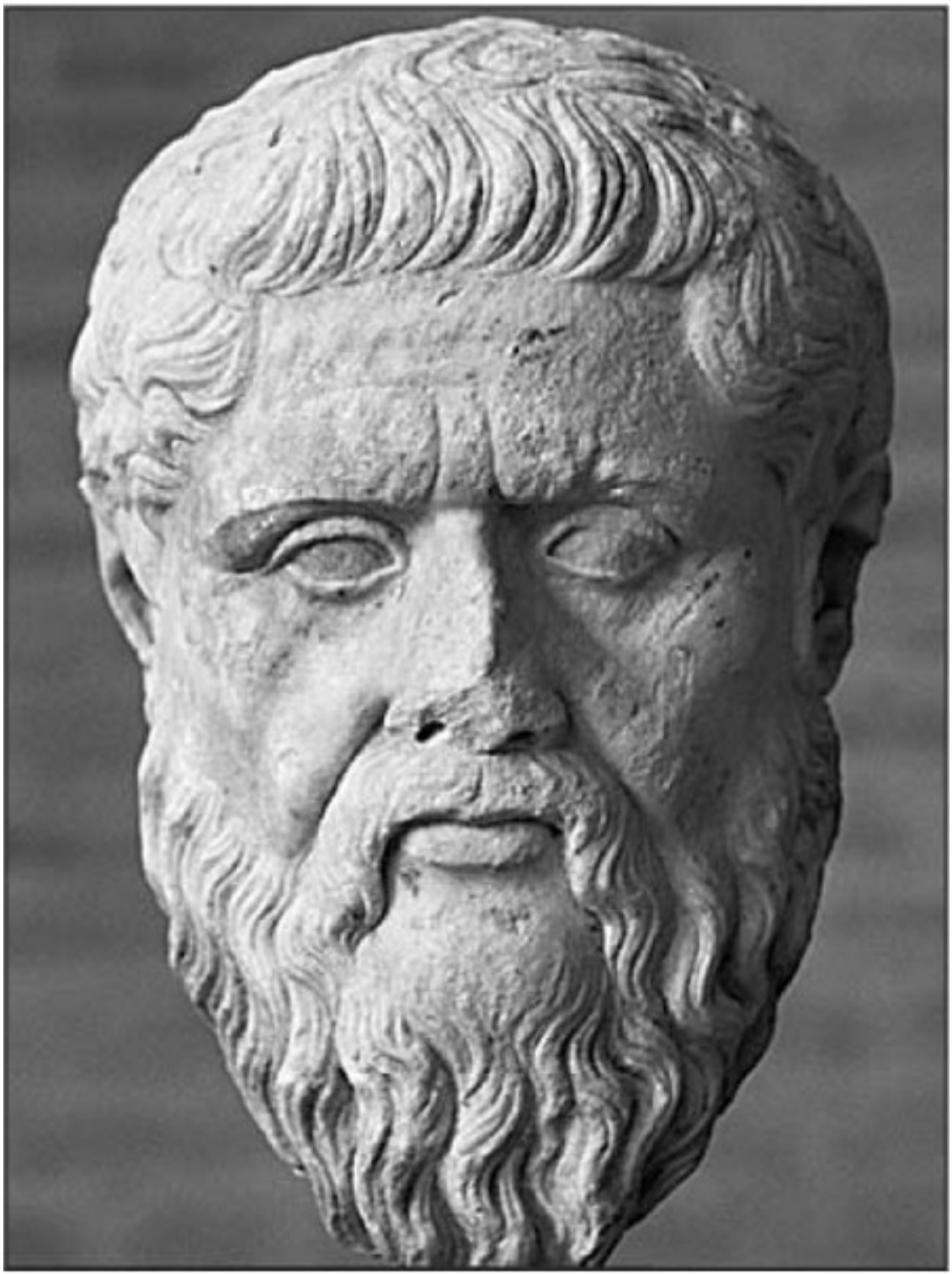
Злой принцип. Платон отлично описал, как философски мыслящий человек, внутри каждого существующего общества, должен иметь значение человека во всех отношениях самого нечестивого: будучи критиком всех обычаев, он должен являться противоположностью нравственного человека. И если он не простирает своих требований так далеко, чтобы стать законодателем новых обычаев, то остается в воспоминании людей в виде «злого принципа». Отсюда мы можем понять, как довольно слабомыслящий и склонный к новизне город Афины ценил Платона еще при его жизни; что удивительного, если философ этот, который, как он сам говорил, в самом теле имел «политическую жилку», трижды производил опыты в Сицилии, где, по-видимому, разрасталось общегреческое средиземное государство? В этом государстве и с его помощью надеялся Платон сделать для всех греков то, что позднее сделал Магомет для своих арабов: определить и важные, и мелкие обычаи, и притом обычаи ежедневной жизни каждого лица: и мир мог бы пережить платонизирование европейского юга. И если бы это состояние продолжалось еще и теперь, то мы почитали бы в Платоне «добрый принцип». Но Платон не имел успеха, а потому за ним и осталась слава фантазера.

422

Очищающий глаз. Можно было бы говорить о «гении» таких людей, у которых, как, например, у Платона, Спинозы, Гете, ум слабо привязан к характеру и темпераменту как окрыленное существо, которое легко может отделиться от них и подняться высоко над ними. Наоборот, больше всего говорят о своем гении именно те, которые никогда не порывали связей со своим темпераментом и умели давать ему самое духовное, самое большое, самое общее, при обстоятельствах – даже космическое выражение (как, например, Шопенгауэр). Эти гении не могли взлететь над самими собой, но куда бы они ни прилетали, они думали, что они уже были там, – такова их «величина». Другие, которым ближе подходит это имя, имеют *чистый, очищающий* глаз, который, очевидно, вырос из их темперамента и характера, но свободный от них и в противоречии с ними смотрит на мир и любит его. Но и им этот глаз подарен был не сразу: есть школа и практика взгляда; которому посчастливится, тот вовремя находит учителя чистого созерцания.

423

Не требовать. Вы не знаете его! Да, он легко и свободно подчиняется людям и обстоятельствам и добродушно относится к тем и другим; его единственная просьба – оставить его в покое, но это лишь до тех пор, *пока* люди и вещи *не требуют* подчинения. Всякое требование делает его гордым, подозрительным, воинственным.



424

Злой. «Злой только тот, кто живет одиноко», – сказал Дидро, и Руссо тотчас почувствовал себя смертельно оскорбленным. Следовательно, он был согласен, что Дидро прав. Действительно, каждая дурная наклонность в обществе или общине должна делать столько насилий над собой, надевать на себя столько масок, так часто ложиться на прокрустово ложе добродетели, что можно было бы говорить о мученичестве злого. В одиночестве ничего подобного делать не надобно. Кто зол, тот лучше всего чувствует себя в одиночестве; в таком состоянии

он может быть наиболее зол, а следовательно, и наиболее красив для глаза того, кто смотрит на все, как на сцену.

425

Против линии. Мыслитель может заставить себя в течение нескольких лет мыслить наперекор направлению, т. е. следовать не тем мыслям, которые навязываются ему изнутри, а тем, к которым обязывают его служба, предписанное распределение времени, занятия. Но, наконец, он становится больным, потому что такое моральное напряжение губит его силы.

426

Одно слово для трех различных состояний. У этого в страсти просыпается дикий, отвратительный, невыносимый зверь. Того страсть подымает до величественного, великолепного вида, сравнительно с которым его обыкновенная жизнь кажется жалкой. Третий мало-помалу облагораживается, имеет даже самые благородные порывы, он бывает в этом состоянии *дико прекрасной* натурой и только одною степенью ниже величавой, спокойно прекрасной природы, которую он обыкновенно представляет собой. Но в страсти люди больше понимают его и больше уважают его именно ради этих моментов – тогда он бывает шагом ближе к ним и родственнее им. И тогда они чувствуют восторг и увлечение, и *тогда* говорят об этом: *величественно.*

427

Дружба. Тот довод против философской жизни, что в таком случае становишься *бесполезен* друзьям, никогда не мог бы прийти в голову современному человеку: он идет из античных времен. Древность пережила, передумала дружбу и почти положила ее в могилу с собой. В этом древность перегнала нас: мы, наоборот, должны открыть идеализированную половую любовь. Все великие способности античных людей имели свою поддержку в том, что *мужчина* стоял *рядом с мужчиной* и что женщина не изъявляла требований быть ближайшим спутником мужчины, единственным предметом его любви. Может быть, наши деревья потому и не растут так высоко, что около них вьется плющ и виноград.

428

Примирение! Должна ли философия иметь задачей *примирить* то, чему училось *дитя* и то, что познал *муж!* Должна ли философия стать задачей юноши, потому что он стоит в середине между ребенком и мужем и имеет среднюю потребность? Почти так и должно быть, если принять в соображение, в какой возраст создают теперь философы свои теории: тогда, когда для веры бывает слишком поздно, а для познания – слишком рано.

429

Практики. Мы, мыслители, должны установить *вкус* всех вещей и в крайнем случае декретировать его. Практические люди принимают его от нас; их зависимость от нас невероятно велика и представляет собой самую смешную сцену мира: так мало сознают они эту зависимость и с такой гордостью любят говорить о нашей непрактичности. Между тем, если бы мы стали с пренебрежением относиться к их практической жизни, то они стали бы относиться к ней так же; а к этому нас иногда могло бы побудить маленькое чувство мести.

430

Необходимое иссякание всякого блага. Как! Явление надобно понимать именно так, как и время, произведшее его? Но приятнее и поучительнее понимать его именно не так! Разве вы не заметили, что каждое новое хорошее явление, пока находится во влажном воздухе своего времени, имеет наименьшую цену именно потому, что от него пахнет рынком, конкуренцией, новейшими идеями и вообще всем переходом от сегодня к завтра? Впоследствии все это иссякает, «современность» умирает, и тогда только явление получает свой глубокий блеск и смысл, а иногда и спокойный взгляд вечности.

431

Против тирании правды. Даже и в том случае, если бы мы были так глупы, что все свои мнения считали бы истинными, мы не хотели бы, чтобы существовали только они. Я не знал бы тогда, зачем надобно желать единовластия и всемогущества правды, для меня было бы достаточно уже и того, что она имеет большую власть. Но она должна бороться, должна иметь противников; надобно, чтобы возможно было временами *спасаться* от нее в неправду, иначе правда станет вялой, бессильной, бессмысленной, и нас сделает такими же в наших отношениях к ней.

432

Не быть патетичным. То, что мы делаем для своей *пользы,* не должно приносить нам нравственной славы ни со стороны других, ни со стороны нас самих; а также и то, что мы делаем ради своего *удовольствия.* В таком случае не допускать пафоса и воздерживаться самим от всякого пафоса считается *хорошим тоном* у всех развитых людей. Кто приучит себя к этому *хорошему тону,* тот получает в дар за это откровенность.

433

Третий глаз. Как! тебе еще необходим театр! Разве ты еще так молод? Будь мудр и ищи трагедии и комедии там, где они играются лучше! там, где они интереснее и где больше интересуются ими! Правда, не совсем легко быть там только зрителем, но научись этому! И почти во всех положениях, которые тяжки и трудны для тебя, ты найдешь там дверцу, ведущую к радости, ты найдешь там убежище даже и тогда, когда твои собственные страсти начнут давить тебя. Открой свой театральный глаз, громадный третий глаз, который смотрит на свет сквозь два другие!

434

Бежать от своих добродетелей. Какое дело мыслителю, если он не сумеет при случае бежать от своих собственных добродетелей! Ведь он должен «не только быть моральным существом»!

435

Искусительница. Совесть – большая искусительница всех фанатиков. То, что являлось Лютеру в образе дьявола или прекрасной женщины и что он гнал от себя таким невежливым образом, была совесть, а, может быть, в более редких случаях, даже и правда.

436

Мужественный против вещей. Кто по своей природе с уважением и страхом относится к людям и свое мужество проявляет по отношению к вещам, тот боится новых и близких знакомств и ограничивает свои старые знакомства.

437

Границы и красота. Ты ищешь человека с красивой культурой? Но тогда ты должен сделать то же, что сделал бы, если бы искал красивой страны – отказаться от своих *ограниченных* горизонтов. Конечно, есть панорамные люди, и они, подобно панорамным странам, поучительны и удивительны, но не красивы.

438

К более сильным. Вы, более сильные и более отважные умы, у вас просят только одного: не налагайте на нас новой тяжести, но возьмите на себя хоть сколько-нибудь из нашей ноши, так как вы – сильнее! Но вы с таким удовольствием делаете наоборот: вы хотите лететь, и потому мы должны нести еще и вашу ношу. Другими словами – мы должны *ползать.*

439

Прибавление к красоте. Почему красота возрастает вместе с цивилизацией? Потому, что у цивилизованного человека редко и все реже и реже встречаются три случая, содействующие безобразию: во-первых, самые дикие взрывы аффектов; во-вторых, сильные телесные напряжения; в-третьих, необходимость внушать страх наружным видом, которая на низкой культурной ступени так велика и встречается так часто, что создает даже церемониалы и законы и делает безобразие *обязанностью.*

440

Не пускать своего демона в ближних! Остановимся на том, что относиться к другим с любовью и делать добро – это значит быть хорошим человеком, только позвольте нам прибавить: «при том условии, что он прежде всего с любовью относится и делает добро *себе самому».* Ибо *без этого* – если он бежит от себя, ненавидит себя, делает вред себе – он не хороший человек. Тогда он спасается *в других* от себя самого. Избегать *ego,* ненавидеть *ego* и жить в другом для другого – до сих пор это называли насколько бессмысленно, настолько же и уверенно «неэгоистичным» и, следовательно, «хорошим».

441

Соблазнять к любви. Кто ненавидит себя самого, того мы должны бояться, ибо мы станем жертвами его ненависти и мести. Постараемся же как-нибудь соблазнить его к любви к самому себе.

442

Быть обманутым. – Всякий раз, как ты хочешь действовать, ты должен запереть дверь от сомнения, – говорил действующий. – И ты не боялся бы таким образом быть обманутым? – отвечал созерцающий.

443

Вечная тризна. Можно подумать, что слышишь постоянно надгробное слово над историей: постоянно хоронили и хоронят свое самое любимое – свои мысли и надежды, и получали и получают гордость от этого – *gloria mundi,* т. е. помпу надгробной речи. Таким образом, все сделано хорошо! И надгробный проповедник все еще величайший общественный благотворитель!

444

*Исключительная суетность. Т*от обладает, к своему утешению, *одним* высоким качеством; над всем остальным его существом взгляд скользит презрительно. Но он исцеляется от самого себя, когда он идет к своей святыне; самая дорога туда представляется ему подъемом по широкой спокойной лестнице, а вы, жестокие, называете его за это суетным.

445

Мудрость без ушей. Слышать ежедневно, что говорят о нас, или доискиваться, что думают о нас, – это губит самого сильного человека. Пусть же и другие позволят нам жить, постоянно удерживая право над собой! Ведь вы не выдержали бы нас, если бы мы имели (или хотели иметь) права на вас! Короче, принесем жертву всеобщему миролюбию, не будем прислушиваться, когда говорят о нас, хвалят, порицают, жалеют нас, надеются на нас. Не будем даже думать об этом!

446

Вопрос. Про всё, что не скрывает человек, можно спросить: что он скрывает? от чего он отводит взор? каким предрассудком вызывается это? как далеко может уйти утонченность этого притворства? и в чем он ошибается при этом?

447

Зависть живущих уединенно. Между натурами, любящими общество и любящими одиночество, разница в том, что первые становятся довольны или почти довольны вещью, какова бы она ни была, с той минуты, как они найдут в своем уме возможность произвести с нею счастливый оборот, – это примиряет их даже с самим чертом! Вторые имеют в вещи свой тихий восторг, свою тихую муку, они ненавидят замысловатую, блестящую постановку своих самых задушевных проблем, как ненавидят они слишком изысканную одежду на своих возлюбленных. Тогда они смотрят на них меланхолично, как будто бы у них возникло подозрение, что они хотят нравиться другим. Такова зависть *esprit* всех мыслителей и у страстных мечтателей, живущих уединенно.

448

Действие похвалы. Одни от большой похвалы становятся стыдливы, другие – наглы.

449

Скрытные. Неужели вы не видели еще тех людей, которые сдерживают и стесняют даже свое восторженное сердце и охотнее становятся немыми, чем теряют стыдливость меры? И неужели вы не находили еще тех неудобных и вместе с тем благонравных, которые не хотят быть познанными, которые избегают своих следов на песке и которые бывают лжецами перед другими и перед самими собой, чтобы остаться непонятыми.

450

Более редкая воздержанность. Признаком гуманности часто служит то, чтобы не судить другого и отказаться думать о нем.

451

Что дает блеск человеку и нарядам. Многие не совершают чисто *индивидуальных* действий потому, что прежде чем совершить их, они обдумывают и соображают, что их, может быть, не поймут. Чем выше время, чем больше народ уважает индивидуума, чем больше прав и преимуществ дают ему, тем смелее такие действия будут появляться на свет, и распространится, наконец, сияние честности, понимания добра и зла над всеми временами и над всеми народами, так что они, подобно грекам, даже и после падения своего, будут сиять в течение тысячелетия, как многие звезды.

452

Круг мыслителя. У многих ход их мысли в общем строг и неумолимо последователен, иногда даже суров, но в частности они бывают кротки и податливы; они десять раз обернутся вокруг вещи с благодетельной медлительностью, но, в конце концов, идут дальше своей строгой дорогой. Это – ручьи с многочисленными извивами и с отделившимися ручейками; в их течении есть места, где ручей сам с собой играет, устраивая себе маленькую идиллию с островами, деревьями, гротами, водопадами, и затем течет дальше по скалам, по жесткому каменистому руслу.

453

Искусство чувствовать иначе. С тех пор как люди стали жить обществом, уничтожающие и уничтожаемые, с глубокими плодотворными мыслями, от искусства или вообще ничего не требуется, или требуется совершенно иное, чем прежде, т. е. изменяется вкус. Именно прежде хотели погрузиться на минуту в тот элемент, в котором теперь уже давно живут; тогда грезили восторгом обладания – и теперь обладают. Но время от времени бросать что имеешь и воображать себя бедным, как ребенок, нищий или идиот, – при случае может воспламенять нас и теперь.

454

Любовь делает равными. Кому посвящает себя любовь, того она хочет избавить от всякого чувства *отчуждения*, следовательно, она притворяется, уподобляется, обманывает, играет в равенство, которого в действительности нет. И это происходит так инстинктивно, что любящие женщины отрицают здесь факт притворства и постоянного самого нежного обмана и смело утверждают, что *любовь делает равными* (т. е. она делает чудо!). Этот процесс прост, если одно лицо *позволяет любить себя* и не находит нужным притворяться, вернее предоставляет это другому – любящему. Но зато как запутано и непонятно бывает зрелище, когда обоими овладевает полная страсть друг к другу и, следовательно, каждый хочет поставить себя вровень с другим и сделать себя равным только ему; и ни один из них уже не знает, чему он должен подражать, к чему приспособляться, что он должен брать и что дать.

Прекрасное безумие этой игры слишком хорошо для этого света и слишком тонко для человеческого глаза.

455

Мы зачинщики!Что понимает и видит актер, когда смотрит, как играет другой? Он знает, когда мускул не оказывает услуги при жесте; он отделяет те маленькие, деланные вещи, которые порознь и хладнокровно разучиваются перед зеркалом и не хотят срастись воедино; он чувствует, когда актер увлекается на сцене своей фантазией… Насколько иначе смотрит художник на двигающегося перед ним человека! Он многое прибавляет здесь своим воображением, чтобы дополнить настоящее и довести его до полного совершенства; он представляет в своем уме несколько освещений одного и того же предмета, он анализирует то впечатление, какое может произвести та или другая постановка… О, если бы нам иметь глаз этого актера или этого художника для царства человеческих душ!

456

Малые дозы. Если перемена должна, насколько возможно, идти в глубину, то средство надобно давать маленькими дозами, но не переставая, в течение долгого времени! Можно ли создать что-нибудь великое разом? Точно так же мы должны беречься менять поспешно и насильственно, с помощью новых оценок вещей, состояние морали. Нет, мы должны жить в нем еще долго-долго, до тех пор, пока, вероятно очень поздно, заметим, что *новая оценка* стала для нас преобладающей силой и что маленькие дозы ее, *к которым мы с этих пор должны привыкать*, заложили в нас новую природу.

Теперь начинают понимать, что последняя попытка великой перемены оценок в политических вопросах, «великая революция», была не более как патетическое и кровавое шарлатанство, которое сумело, благодаря неожиданным кризисам, дать легковерной Европе надежду на *мгновенное* выздоравливание.

457

Правда нуждается в силе. Сама по себе правда отнюдь не сила, что бы ни говорили против этого любители пышных фраз! Она, наоборот, должна привлекать силу на свою сторону или сама отдаться под покровительство силе, иначе она погибнет! Это доказано ясно и даже более, чем ясно!

458

Совершенство. Совершенство достигается тогда, когда в исполнении не ошибаются и не медлят.

459

Знаете ли вы, чего вы хотите? Не мучил ли вас когда-нибудь страх, что вы, может быть, вовсе не способны к познанию истины? Страх, что ваше чувство слишком тупо и что острота вашего зрения еще слишком груба? Замечали ли вы когда-нибудь, какая воля действует за вашей спиной? Например, вчера вы хотели видеть *больше,* чем кто-нибудь другой; сегодня хотите видеть *иначе*, чем кто-нибудь другой? О, позор! Как часто обращаетесь вы к укрепляющему и к успокаивающему средствам, потому что вы утомлены! Все полно таинственных предназначений, какой и должна быть истина, и вы не можете принять ее! Или думаете вы, что сегодня, так как у вас на сердце холодно и сухо, как в ясное зимнее утро, и пусто, – у вас лучше смотрят глаза? Не теплота ли и увлечение создают справедливость? Как будто бы иначе можно обращаться с мыслями, чем с людьми! В этом обращении та же нравственность, та же честность, та же задняя мысль, та же нерадивость, та же боязливость – все то же ваше достойное любви и ненависти «я». Ваша телесная усталость дает вещам бледные краски; ваша лихорадка сделает из них чудовища! Не освещает ли вам утро вещи иначе, чем вечер? Не боитесь ли вы в пустотах каждого познания найти свое собственное привидение, в которое, как бы в одежду, одевается правда пред нами? Не страшная ли эта комедия, в игре которой вы хотите принимать участие так неосторожно?

460

Учиться. Микельанджело видел в Рафаэле школу, в себе природу: тот – *учился*, он имел *способности.* А что такое способности, как не другое слово вместо ученья – усвоение опытности, знаний – нашего отца или более ранних предков? И наоборот: кто учится, тот сам *одаряет себя самого,* только не так легко *учиться*, и это не только дело доброй воли: надобно *быть в состоянии учиться.* У художника этому часто мешает зависть и та гордость, которая, лишь только он почует в себе необычайные силы, тотчас обнаруживает свои когти и непроизвольно меняет положение учащегося на положение защищающегося. У Рафаэля, так же, как и у Гете, не было ни зависти, ни гордости, а потому они были *великие ученики*, а не только добытчики той руды, которая отложилась в истории их предков. Рафаэль исчезает перед нами как учащийся, так как он много и свободно пользуется тем, что его великий соперник называет *своей* «природой»: он ежедневно что-нибудь уносил из этого, этот благороднейший вор. Но прежде чем он перенес в себя всего Микельанджело, он умер, и последний ряд его произведений, как *начало* его нового плана занятий, менее совершенен, а просто хорош, и только потому, что великий ученик был оторван смертью от этой труднейшей работы и унес с собой в могилу последнюю, оправдывающую его цель, к которой он стремился.

461

Как окаменеть. Медленно, медленно становятся твердыми, как драгоценный камень, и, наконец, остаются лежать спокойно, к радости вечности.

462

Философ и возраст. Нелогично поступают, если по вечеру судят о дне, потому что там очень часто о силе, успехе и доброй воле судит усталость. Точно так же следовало бы остерегаться и суждения *стариков* о жизни, так как старый возраст, как и вечер, обыкновенно наряжается в новую привлекательную нравственность и умеет, с помощью вечерней зари, сумерек, мирной и томительной тишины, унизить день. Уважение, с которым мы относимся к старому человеку, особенно если он мыслитель или мудрец, легко делает нас слепыми к возрасту его духа, и признаки этого старения и утомления необходимо постоянно вызывать на свет оттуда, где они скрываются, т. е. выдвигать вперед физиологический феномен, скрывающийся за моральным предрассудком, чтобы не стать дураками благочестия и вредными для познавания. Именно старый человек иногда впадает в мечты великого морального обновления и возрождения и делает об этом заключения из суждений о себе и своей жизни. Между тем внушается это благодетельное чувство и эта уверенность суждения не мудростью, а *утомлением.* Первым признаком утомления надобно назвать *веру в гений*, которая обыкновенно овладевает великими и полувеликими людьми у порога их жизни; веру в исключительное положение и в исключительные права. И если какого-нибудь мыслителя посетит эта вера, он начинает считать себе дозволенным больше декретировать, как гений, чем доказывать. Второй признак утомления, когда хотят, как и вообще все утомленные и старые, *наслаждаться* результатами своего мышления вместо того, чтобы доказывать их и насаждать их в умах других, потому как им надобно сделать их приемлемыми и устранить их сухость, холод и скрыть их беспочвенность. Таким образом происходит, что старый мыслитель возвышается, по-видимому, над делом своей жизни, но на самом деле он портит его, примешивая туда мечтательность, сладость, пряность, поэтический туман и мистический свет. Так случилось с Платоном, так случилось и с тем поистине великим французом, рядом с которым не могли никого поставить ни немцы, ни англичане, – я говорю об Огюсе Конте. Третий признак утомления: то честолюбие, которое клокотало в груди великого мыслителя, когда он был молод, и которое тогда ни в чем не находило себе удовлетворения, теперь сделалось тоже старым, оно хватается, точно боясь упустить время, за более грубые и более доступные средства удовлетворения, т. е. за средства деятельных, господствующих, сильных, воинствующих натур. Теперь он хочет создать правила, которые носили бы его имя. Что ему теперь уже эфирные победы и почеты в царстве доказательств и возражений! Что ему теперь увековечивание в книгах, радость в душе читателя! Может быть, он находит также в это время впервые ту любовь, которая имеет значение больше для Бога, чем для человека, и все его существо смягчается и услаждается под лучами такого солнца, подобно плодам осенью. Он становится божественнее и прекраснее, великий старец, и кроме того, возраст и утомление позволяют ему вызревать таким образом и становиться спокойным. Теперь погибло его прежнее, упорное, одолевавшее его желание иметь настоящих учеников, именно настоящих продолжателей его мысли и настоящих противников; то требование шло из неослабной силы, из сознательной гордости, что во всякое время он сам еще сможет сделаться противником и смертельным врагом своего собственного учения, – теперь он хочет решительных сторонников, несомненных товарищей, помощников, герольдов, торжественной свиты. Теперь он не выносит больше страшной изоляции, в которой живет каждый стремящийся вперед и вверх дух; он окружает теперь себя предметами почета, общения, любви. Так живет мудрый старец и попадает незаметно в такую печальную близость к жреческим, поэтическим фантазиям, что едва можно вспомнить при этом о его мудрой и строгой юности, о тогдашней его строгой моральности головы, о его поистине мужском страхе перед мечтательностью. Если прежде он сравнивал себя с другими, более старыми мыслителями, то это случалось для того, чтобы сравнить свою слабость с их силой и сделаться равнодушнее и свободнее

по отношению к самому себе. Теперь он делает это только для того, чтобы при сравнении с ними опьянеть от своего собственного безумия. Прежде он с уверенностью думал о грядущих мыслителях, даже с наслаждением видел себя по временам в их более полном свете, теперь его мучит то, что он, может быть, не последний думает о средствах, чтобы с помощью оставляемого им человечеству наследства возложить на него ограничение самостоятельного мышления. Он боится и позорит гордость и жажду свободы индивидуальных умов: по его мнению, никто более не смеет давать полную свободу своему интеллекту, он хочет сам всегда стоять бастионом, о который разбивался бы вообще всякий напор мышления – это его тайные, а может быть, и не всегда тайные желания! Но жестокий факт, скрывающийся позади этих желаний, тот, что он сам остановился перед своим учением и воздвиг в нем свой пограничный камень, свое «до сих пор и не дальше». *Канонизируя* самого себя, он выставляет свидетельство смерти о себе: с этих пор его дух уже не может более развиваться, время для него прошло. Если великий мыслитель хочет создать обязательное правило для грядущего человечества, то можно наверняка сказать, что он взошел на вершину своей силы и очень близок к своему закату.

463

Не делать страсть аргументом истины! О вы, благонравные и даже благородные мечтатели, я знаю вас! Вы хотите оставаться правыми перед нами и перед собой – и прежде всего перед собой! – а раздражительная и чувствительная злая совесть мучит и гонит вас так часто прямо наперекор вашей мечте! Как остроумны становитесь вы тогда, обманывая и очаровывая эту совесть! Как ненавидите вы честных, простых, чистых, как избегаете вы их невинных глаз! То *лучшее знание*, представителем которого служат они и голос которого вы так громко слышите в самих себе, как заставляет вас оно сомневаться в вашей вере, как стараетесь вы набросить на него тень, как бы на дурную привычку, на болезнь времени, как на заразу для вашего собственного духовного здоровья! Вы доходите до ненависти к критике, к науке, к разуму! Вы должны извращать историю для того, чтобы она свидетельствовала в вашу пользу; вы должны отрицать добродетели, чтобы они не омрачали ваших кумиров и идеалов! Блестящие краски там, где нужны доводы! Порыв и сила выражений! Серебристые облака! Амброзиальные ночи! Вы умеете давать свет и тени! Вы умеете затемнять светом! И действительно, если ваша страсть дойдет до неистовства, то наступит минута, когда вы скажете себе: теперь *я завоевал* себе хорошую совесть, теперь я великодушен, смел, способен к самоотрицанию, велик, теперь я честен! Как жаждете вы этих минут, когда ваша страсть даст вам для вас самих полное безусловное право и сделает вас невинными, когда вы в борьбе, увлечении, надежде будете вне себя и станете выше всяких сомнений, когда вы можете декларировать: «кто не бывает вне себя, как мы, тот вовсе не может знать, что и где правда!» Как жаждете вы найти в этом состоянии людей вашей веры (а это состояние – состояние *безнравственности интеллекта)* и на их пожаре зажечь свои факелы! О, ваше мученичество! Надобно ли вам причинять себе *столько* страданий? *Надобно ли?..*

464

Но мы не верим вам! Вы можете, сколько вам угодно, выдавать себя знатоками людей, но мы не позволим вам обмануть нас! Неужели мы не можем заметить, что вы прикидываетесь более опытными, проницательными и совершенными, чем вы есть на самом деле? Пережили ли вы в себе *историю,* волнения, землетрясения, глубокие печали, мгновенное и светлое, как молния, счастье? Были ли вы глупыми с большими и малыми глупцами? Перенесли ли вы, действительно, безумие и горе добрых людей? Горе и счастье злых? Тогда только говорите мне о морали, в противном случае, молчите!

465

Рабы и идеалисты. Человек у Эпиктета был бы поистине не по вкусу тем, которые теперь стремятся к идеалу. Постоянное напряжение его существа, неутомимо обращенный внутрь взор, замкнутость, предусмотрительность, необщительность, всякий раз как он обращается к внешнему миру, молчаливость, краткая речь – как могут отнестись ко всему этому наши идеалисты, которые всеми силами стремятся к *экспансивности!* Ко всему этому, он не фанатик, он ненавидит действие напоказ и хвастовство наших идеалистов; как бы велика ни была его гордость, она не хочет смущать других, он умеет подойти мягко и кротко и никому не хочет портить хорошего расположения духа, – он даже может улыбаться! В этом идеале много античной гуманности! Но самое прекрасное в нем – то, что он строго верит в разум. Эпиктет был *рабом;* его идеальный человек не принадлежит ни к какому сословию и может быть во всех сословиях, но прежде всего его можно найти среди низших масс. Это человек спокойный, самоудовлетворенный среди всеобщего рабства, человек, который постоянно обороняется и обладает постоянно высшей храбростью. От христианина он отличается прежде всего тем, что христианин живет надеждой, что он ожидает и принимает дар от Божественной любви и милости, а не от себя. Эпиктет не надеется, он обладает всем, что для него надобно, он храбро держит это в своих руках и готов поспорить из-за этого со всем миром. Христианство годилось для античных рабов другого рода – т. е. для большой массы рабов.

466

Тираны духа. Ходу науки не препятствует уже теперь случайный факт, что человеку 70 лет, как это было прежде. Прежде хотели в этот промежуток времени дойти до конца познания и сообразно с этим общим желанием оценивали методы познания. Маленькие отдельные вопросы и попытки считались достойными презрения, хотели идти кратчайшей дорогой, верили, что все в мире сотворено ради человека и что, следовательно, само познание вещей рассчитано сообразно силам человека. Разрешать все одним ударом, одним словом – вот было тайное желание всех. Задачу представляли себе в виде гордиева узла: не сомневались в возможности того, что и в деле познания придет какой-нибудь Александр и одним махом разрешит все вопросы. «Загадку надобно разрешить», – такова была жизненная цель философа! Безграничная гордость и радость «разгадать загадку мира» были мечтой мыслителя: он смотрел на все, как на нестоящее труда, если оно не было в тоже время средством все привести *для него* к концу, и, таким образом, философия была, в некотором роде, высшей борьбой за тиранию духа. В том, что она должна достаться одному очень счастливому, ловкому, изобретательному, смелому, сильному, – одному! – в этом никто не сомневался; и многие мечтали – в том числе и Шопенгауэр – быть этим «одним». Из этого выходит, что в общем наука до сих пор отставала вследствие моральной ограниченности своих последователей и что на будущее время ею надобно заниматься с более глубоким уважением к ней. «При чем тут лично я» – вот девиз будущего мыслителя.

467

Самоизбегание. Те люди интеллектуальных судорог, которые нетерпеливо и недовольно относятся к себе, как, например, Байрон или Альфред де Мюссе, и во всем, что они делают, напоминают закусившую удила лошадь; которые из дел рук своих получают только короткое удовольствие и восторг, а затем испытывают еще более холодное чувство одиночества и тоску, – как выносят они это? Они жаждут уйти в «во вне себя»: Шекспир стремится слиться с образами

самой страстной жизни; Байрон стремится к *подвигам*, потому что подвиги больше, чем мысли, чувства и дела отвлекают нас от нас самих. Так, может быть, в основе «самоизбегания» лежит стремление к подвигам? Действительно! Для высших экземпляров это положение стремления к подвигам можно считать доказанными: вспомните только, что, по словам врачей, четверо из известных в истории великих людей, «жаждущих подвигов» (Александр, Цезарь, Магомет, Наполеон), были эпилептиками; Байрон также страдал этой болезнью.

468

Познание и красота. Если люди (как они все еще поступают) находят свою славу и свое счастье в произведениях фантазии и мечты, то нечего удивляться, если они чувствуют холод и неудовольствие от противоположного фантазии и мечтам. Восхищение, которое появляется даже при малейшем верном окончательном шаге и успехе разума и которое для многих бьет таким обильным ключом из теперешней науки, – этот восторг не разделяется теми, которые привыкли чувствовать восторг только тогда, когда они покидают действительность и прыгают в глубину кажущегося. Они думают, что действительность безобразна, и не предполагают того, что познание даже и безобразной действительности прекрасно и что тот, кто часто и много познает, в конце концов бывает очень далек от того, чтобы находить безобразной всю действительность, открытие которой ему всегда давало счастье. Итак, есть ли что-нибудь «прекрасное само по себе»? Счастье познающего увеличивает красоту мира и все, что там есть, делает как бы озаренным солнцем; познание не только распространяет красоту кругом вещей, оно предполагает красоту самой вещи и в вещи. Грядущее человечество, вероятно, засвидетельствует это положение! А мы тем временем вспомним об одном старом факте: два таких различных по существу человека, как Платон и Аристотель, сходились в определении того, что составляет *высшее счастье* не только для них или для людей, но, вообще, что такое высшее счастье само по себе, даже для самих блаженных богов. Они находили его *в познании*, в деятельности развитого, ищущего и изобретающего ума (не в «интуиции», как немецкие теологи и полутеологи; не в созерцании, как мистики; не в сознании, как практики). Так же думали Декарт и Спиноза: как *наслаждались,* вероятно, все они познаванием! И какая была опасность для их прямодушия сделаться панегиристами бытия!

469

О будущих добродетелях. Почему по мере того, как больше познают мир, его величие становится меньше? Потому ли, что страх был таким сильным основным элементом того благоговения, которое овладевало нами перед лицом неизвестного и таинственного и заставляло нас падать ниц перед непостижимым и просить о милости? И неужели из-за того, что мы сделались менее робки, мир потерял для нас свои чары? Неужели наша трусливость не уменьшала нашего собственного достоинства и величия и не делала нас самих менее страшными? Может быть, мы меньше уважаем мир и самих себя с тех пор, как мы смелее мыслим о нем и о самих себе? Может быть, в будущем эта смелость мышления возрастет до того, что будет чувствовать себя выше людей и бытия, когда мудрец, как наиболее смелый, будет видеть под собой и себя самого и бытие? Такой смелости, граничащей с безмерным великодушием, до сих пор *не было* у человечества. О! пусть бы появились снова поэты, какие были некогда, провидцы, которые рассказали бы нам о том, что *может* быть! Теперь, когда настоящее и прошлое все более и более отнимаются и будут отниматься у них, – ибо прошло время невинной лжи! – пусть бы вещали они нам *о будущих добродетелях!* Или о добродетелях, каких никогда не будет на земле, хотя они и будут где-нибудь в мире, – о блистающих пурпуром созвездиях и целых млечных путях прекрасного! Где вы? Где вы, астрономы идеала?

470

Идеальный эгоизм. К какому состоянию относятся с большим благоговением, как не к состоянию беременности? Все, что делают тогда, делают в тихой вере, что это в каком-нибудь отношении полезно развивающемуся в нас! Оно поднимает свою полную таинственности цену, о которой мы думаем с восхищением. Тогда многому уступают, не особенно насилуя для этого себя; тогда сдерживают резкое слово, протягивают примиряющую руку: ребенок должен развиваться из всего самого кроткого и лучшего. Нас бросает в дрожь от наших резкостей и неожиданностей, как будто бы мы влили каплю яда в чашу жизни нашего возлюбленного неизвестного! Все покрыто занавесом, все полно предчувствий, ничего не известно, как идет дело; вокруг ждут и стараются быть *готовыми.* При этом действует со всей своей силой чистое и очищающее чувство глубокой неответственности в нас, как это бывает со зрителем перед закрытым занавесом: *растет,* идет на *свет,* и у нас в руках нет ничего для определения его роста и его часа. Мы можем единственно только благословлять и защищать. «Здесь растет нечто большее, чем мы», – вот наша тайная надежда. Мы готовим ему все для его счастливого появления на свет: не только то, что ему полезно, но отдаем ему все наше сердце и всю нашу душу. В такой самоотверженной преданности *должно* жить! Можно жить! И будь это ожидаемое – мысль или факт – ко всякому зачатию и развитию мы относимся совершенно так же, как к беременности, и заносчивые слова «хотеть» и «творить» не более как пустые звуки! Это настоящий *идеальный эгоизм:* постоянно заботиться, быть наготове, иметь спокойную, мирную душу, ожидать, что наше опасение *кончится прекрасно!* Так заботимся и стоим мы на страже общей пользы, и чувство, с которым мы живем, это гордое и кроткое настроение, является маслом, разлившимся на наши неспокойные души и далеко кругом нас. Но *причудливы* беременные! Не будем же и мы причудливы и не будем обвинять других, если они будут такими! В уважение пред свершающимся (Werdenden) не останемся позади мировой справедливости, которая не позволяет судье и палачу касаться беременной.

471

Окольный путь. Куда ведет вся эта философия со всеми ее окольными путями? Делает ли она еще что-нибудь, кроме превращения постоянной и сильной страсти в разум, – страсти к ласковому солнцу, к ясному, чистому воздуху, к растениям юга, к морю, к временному питанию мясом, яйцами, плодами, к теплой воде, к тихим дневным прогулкам, к возможности мало говорить, к редкому внимательному чтению, к уединению, к опрятным, простым, почти солдатским привычкам, – одним словом, ко всему тому, что мне нравится больше всего, что легче всего я могу терпеть? Философии, которая, в сущности, есть инстинкт к диете? Инстинкт, который, обходя мое сознание, ищет моего воздуха, моего климата, моей погоды, моего здоровья? Конечно, есть много других и более возвышенных пунктов философии, и не только таких, которые пасмурнее и взыскательнее моих, но, может быть, и они все вместе не что иное, как интеллектуальные обходы таких же личных влечений? Между тем смотрю я новым глазом на одинокое порханье бабочки высоко над морской скалой, где растет много красивых растений: она порхает над нами, не думая о том что живет только жизнью одного дня и что ночь будет непосильно холодна для ее хрупких крылышек. И для нее могла бы найтись философия, хотя бы она и не похожа была на мою.

472

Вперед. Когда хвалят прогресс, то этим хвалят движение и тех, которые не позволяют нам стоять на месте. Этим, конечно, при обстоятельствах, делается много, особенно если жить среди египтян. Но в подвижной Европе, где движение, как говорят, «понятно само собою», – ах, если бы только мы действительно понимали что-нибудь из этого, – люблю я шаг вперед и идущего вперед, того, который покидает постоянно самого себя и вовсе не думает о том, следует ли за ним кто-нибудь другой. «Где я остановлюсь, там найду я только себя одного: зачем мне останавливаться! Пустыня еще велика!» – так чувствует такой идущий вперед.

473

Четыре добродетели. Быть честным относительно себя и друзей; храбрым – с врагами; великодушным – к побежденным; вежливым – всегда – вот наших четыре кардинальных добродетели.

474

Смело на врага. Как хорошо звучит дурная музыка и дурные мотивы, когда идут на врага!

475

Не скрывать даже своих добродетелей! Я люблю людей, которые представляют собой прозрачную воду и которые, говоря словами Попа, «позволяют видеть даже нечистоту на дне их потока». Но и среди них есть тщеславные: некоторые хотят, чтобы видели только нечистоту, а прозрачность воды, которая делает это возможным, считалась за ничто. Не кто иной, как Готама Будда выдумал тщеславие этих немногих, сказав: «Обнаруживайте свои грехи пред людьми и скрывайте свои добродетели!» Но это значит – давать миру некрасивое зрелище!

476

«Ничего слишком!» Как часто советуют кому-нибудь поставить себе цель, которой он не может достигнуть и которая выше его сил, чтобы таким образом достигнуть, по крайней мере, того, что могут сделать его силы при наибольшем напряжении! Действительно ли так хорошо это? Не должны ли казаться даже лучшие люди, которые следуют таким правилам, и их лучшие действия чем-то надутым и искривленным, и именно потому, что здесь делается слишком большое напряжение? И не происходит ли в мире некоторая *безуспешность* от того, что видишь постоянно борющихся атлетов и их страшные жесты и нигде не видишь ни одного увенчанного, одушевленного победой победителя?

477

Что б нашей воле. Можно распоряжаться своими страстями, как садовник распоряжается отростками куста, но об этом знают немногие. И семена своего гнева, сострадания, тщеславия можно выхаживать плодоносными и полезными; можно сделать это с хорошим вкусом или с безвкусием садовника и на французский, и на английский, и на голландский, и на китайский манер; можно предоставить все это природе и только там и сям немножко подрезать и украшать; можно, наконец, даже без всякого уменья и без всяких целей предоставить растениям расти в их естественном приволье и вести между собою борьбу и можно даже иметь удоволь-

ствие от такого их дикого состояния. Все это в нашей воле. Но многие ли знают о том, что это в нашей воле? Не считает ли большинство *себя совершившимися фактами?* Не содействуют ли этому предрассудку великие философы со своим учением о неизменчивости характера?

478

Счастье. Как художники, которые никоим образом не могут передать глубокого сияющего тона действительного неба, бывают принуждены все краски, которые они употребляют для своего ландшафта, брать несколькими тонами ниже, чем дает их природа, как они этим искусственным приемом достигают сходства в блеске и гармонии тонов, так поэты и философы умеют находить себе помощь там, где недостижим светлый блеск счастья: дни окрашивают все вещи на несколько тонов темнее, и тогда свет, который они знают, похож почти на солнце и похож на свет полного счастья. Пессимист, который всему дает самую черную мрачную окраску, употребляет только огонь и молнию, небесный блеск и все, что имеет ослепительную силу света и отнимает у глаза способность видеть. У него свет служит только для того, чтобы увеличить ужас и заставить чувствовать в вещах нечто более страшное, чем они имеют.

479

Оседлые и свободные. Только в подземном царстве показывают нам мрачную заднюю сцену всей той блаженной жизни приключений, которая увлекала Одиссея и ему подобных, – ту заднюю сцену, которую потом уже не забывают – мать Одиссея умерла от грусти и тоски по сыну! Одного влечет с места на место, а у другой, *оседлой* и нежной, сокрушается о нем сердце, и так всегда! Печаль сокрушает сердце тем, которым приходится пережить опыт, что существо, самое любимое ими, покидает их мысли, их веру. Сюда относится трагедия, производимая свободными умами!

480

Заблуждение нравственного порядка вещей. Решительно *нет никакой вечной необходимости*, которая бы требовала, чтобы за всякую вину давались вознаграждение и отплата, – это было страшное и малополезное заблуждение. Равным образом существует заблуждение, что все есть вина, что чувствуется как *таковая.* Люди так перепутали не вещи, но мнения *о вещах, которых вовсе нет!*

481

Тотчас за опытом. И великие умы имеют *опытность* шириною в свои пять пальцев, и за этим тотчас прекращается и их мышление, и начинается их бесконечное пустое пространство и их глупость.

482

Союз достоинства и незнания. Где мы понимаем, там мы становимся любезны, счастливы, изобретательны, и всюду, где мы только достаточно учились и приучили себя видеть и слышать, наша душа обнаруживает больше уступчивости и прелести. Но мы понимаем так мало, и так бедно образованны, и так редко случается, чтобы мы обнимали вещь и делали ее приятной для себя. Мы, наоборот, идем неповоротливо и нечувствительно через город, природу, историю и гордимся таким спокойствием и холодностью, как будто бы это было след-

ствием нашего превосходства. Да, наше незнание и ничтожность жажды знания отлично умеют рядиться в маску достоинства и характера.

483

Дешево жить. Самая дешевая и безмятежная форма жизни есть жизнь мыслителя, ибо он нуждается больше всего в тех вещах, которые другими мало ценятся или оставлены без внимания. Он радуется легко и не знает дорогих подходов к удовольствиям; его работа не тяжела и в то же время приятна; его дни и ночи не отягощены угрызениями совести. Он ходит, ест, пьет, спит столько, сколько ему необходимо для того, чтобы его ум был покоен, силен и ясен; он наслаждается своей жизнью и не имеет поводов бояться ее; он не нуждается в обществе, разве только для того, чтобы полюбить потом еще больше свое одиночество. Живых и даже друзей ему заменяют мертвецы, разумеется лучшие, какие только жили. Посмотрите, эти прихоти и привычки не противоположны ли тому, что делает людям жизнь дорогой, а следовательно, трудной и часто невыносимой. В другом отношении жизнь мыслителя, впрочем, очень дорога, для него одиночество – дороже всего; нуждаться же в *самом хорошем* было бы быть здесь *невыносимым* лишением.

484

В поле. «Мы должны брать вещи с более смешной стороны, чем они заслуживают этого, раз мы долгое время принимали их с более серьезной стороны, чем они заслуживают этого». Так говорят храбрые солдаты познания.

485

Поэт и птица. Птица феникс показала поэту пылающий и обуглившийся свиток. «Не пугайся, – сказала она, – это – твоя работа! В ней нет духа времени, и еще меньше духа тех, которые идут против времени, следовательно, она должна быть сожжена. Но это хороший признак. Есть другие утренние зори».

486

Одинокие. Если мы не щадим чести других лиц в разговорах с самими собою, так же как и в публичных речах, то мы – неприличные люди.

487

Лишения. Есть лишения, которые возвышают душу и потому заставляют ее воздерживаться от печалей и как бы прохаживаться молча под высокими тенистыми кипарисами.

488

Полевая аптека души. – Какое самое сильное целительное средство? – Победа.

489

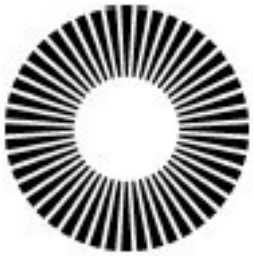
Жизнь должна успокаивать нас. Если живешь как мыслитель, в сильном потоке мысли и чувства, и если даже ночные сны несутся тем же потоком, то от жизни требуешь успокоения и тишины, между тем как другие, предаваясь размышлениям, хотят отдохнуть именно от жизни.

490

Скинуть с себя кожу. Если змея не может скинуть с себя кожу, она погибает. Точно так же и ум, если ему мешают изменить свои мнения, он перестает быть умом.

491

Не забывать! Чем выше мы поднимаемся, тем меньше кажемся мы тем, которые не могут летать.

492

Мы воздухоплаватели ума! Все те смелые птицы, которые улетают далеко-далеко, конечно, прилетят куда-нибудь, дальше чего они не могут лететь, сядут на мачту или на подводный камень и будут еще благодарны за это жалкое пристанище! Но можно ли из этого сделать вывод, что перед ними уже *нет* неизмеримого свободного пространства, что они залетели так далеко, как только *можно* залететь! Все наши великие учителя и предшественники останавливались, наконец; а остановка от утомления – неблагородный и некрасивый вид: с тобой и со мной это тоже случится! Но какое мне и тебе до этого дело! *Другие птицы полетят дальше!* Наши надежда и вера полетят вместе с ними, поднимутся над нашими головами и над нашим бессилием прямо в высоту и будут смотреть оттуда вдаль на стаи более сильных птиц, чем мы; на стаи птиц, которые будут нестись туда, куда стремились и мы и где кругом все море, море, и море! Но куда же стремимся мы? Желаем ли мы перелететь море? Куда влечет нас эта могучая страсть, которая сильнее всех желаний? Почему она влечет нас именно в этом направлении: туда, где *закатывались* до сих пор все солнца человечества? Может быть, и про нас некогда скажут, что мы, *плывя на запад, надеялись достичь Индии*, но что жребий уготовил нам разбиться о бесконечность? Или, мои братья? или..?